



ЛитРес: Самиздат

Борис Евсеев

# Банджо и Сакс



РУССКИЙ  
ПЕН  
ЦЕНТР

ИЗБРАННОЕ

Русский PEN. Избранное

Борис Евсеев  
**Банджо и Сакс**

«Евсеева Мария»

2017

## **Евсеев Б.**

Банджо и Сакс / Б. Евсеев — «Евсеева Мария»,  
2017 — (Русский ПЕН. Избранное)

Борис Евсеев – один из самых необычных сегодняшних русских писателей. Его проза остросюжетна и метафорична, характеры персонажей уникальны, но при этом почти всегда узнаваемы. Особое внимание Евсеев уделяет жанру рассказа, ставшему под его пером неповторимым явлением в современной русской прозе. В рассказах Евсеева есть всё, что делает литературу по-настоящему художественной и интересной: гибкий, словно бы «овеществлённый» язык, динамичный сюжет, прочная документальная основа, острое проникновение в суть происходящих событий. Великолепие и нищета современной России, философы из народа и трепетные бандиты, чудаковатые подмосковные жители и неотвратимо манящие волшебством своей красоты женщины – вот герои, создающие особую повествовательную среду в насквозь русских, но понятных любому жителю земли в рассказах и новеллах Бориса Евсеева.

# Содержание

Часть 1. Слух	5
Банджо и Сакс	5
Взлет	12
Мясо в цене!	15
Ехал на «Птичку» Иван Раскоряк...	22
Босиком	34
Слух	38
Македонское вино	46
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Борис Евсеев Банджо и Сакс

## Часть 1. Слух

### Банджо и Сакс

*“Ах, зачем эта ночь! Так была коротка...”*

*Ах, зачем, зачем, зачем... И главное: почему? И... и...”*

Нет, никогда они не были лабухами! Ну а жмурилянтами и подавно не станут. На похоронах стукать-дуть – последнее дело. Но и в кабак садиться – тоже не фонтан. Тогда, что остается? То и остается, что есть теперь.

В таком ритме, таким макаром говорили они меж собой всегда, когда хотели завестись, взбодриться. Так говорили и тогда, когда завод кончался и повисал, как виснет пружина из сломанных часов, или как в больнице вываливается из-под одеяла чья-то вялая, морщенная, донельзя вытянутая в длину, полностью опустошённая за годы томительной жизни старческая мошонка. Так разговаривали они всегда, когда вообще о чем-то говорили. Но чаще слов даром не тратили, переругивались между собой гудками саксофонными и стукотнёй банджовой, кусочками, короткими мотивами песенок перекликались:

– *“Ах, зачем эта ночь?”*

– *“Yesterday...”*

– *“Кондуктор, не спеши!”* –

– *“Миллион, миллион! Миллион?... Или два?”*

*Из окна, из окна, из окна видишь ты...”*

Они были “вагонные”. Словечко это само выскочило, словно пруттик из корзины ивово́й, само навернулось на язык, само вплелось в жизнь, вьелось в подушечки пальцев, даже в кожаные футляры инструментов впиталось, кажется. Сперва помимо “вагона” они продолжали играть в своем бэнде, в оркестре. Но потом вагон из них все желания, всё самолюбие (не слишком, правда, великое), ну и, конечно, всё жиденькое чванство повытряс. На оркестр сил не осталось. Не осталось их даже на имена.

– Сакс?

– Тут я, Банжонок.

– Где ты, дурила?

– Здесь, Банжонок, за мешками...

– Хорошо б и спать нам вместе в таком вагончике. А, чудрила, а, Сакс?

– Я те голубой, что ли?

– Ну, станешь.

– На хрен нужно, скажем дружно.

– На хрен, не на хрен, а пассивным станешь.

– Пошел ты, Банжонок... Открывай дверь, начинаем!

Начинали они всегда с одной и той же мелодии: низко-хрипло, как брошенная женщина, или кающийся пропойца, Сакс выводил: “Опустела без тебя земля”. Слушатели, на взгляд Банжонка, шедшего всегда сзади и игрой только для виду занятого, отпадали сразу. Затем давали “Московские окна”. Здесь уже бежали, как барашки по небу, по вагону переполненному улыбки. А потом сразу – “Осенние листья”! И вагон был убит, побежден, разтерзан. Прорыхлён был и был возделан. Приходила пора снимать жатву...

Странный они были дуэт, но классный. Что-то необычное слышалось в их музыке, какая-то пряная смесь корицы и льда, Африки и Средней России, Белого моря и шипучих крымских вин... Другие как? Поиграли недельку – и разбежались. Чуть подгрести бабок – и в музконтору или еще куда, да хоть домой, в нору. А они – нет. Нет, – потому что играли они как звери, и подавали им много.

Так и шло: тумба Банжонок – кистепёрый Сакс; резвые аккордики – ополоумевшая и охрипшая от любовного томления чудесная “дудка”; бочковатый барабан со струнами и золотая нить саксофонного пения его продёрнувшая. Пальцы короткие, пальцы хитрющие – губы наглые, губы жестко-ласкательные.

Летом вздох принимались “ню-орлеашки”. Были полны они нездешнего потаённого гонора и грубовато-визгливой печали. Летом такая печаль оказывалась как нельзя к месту. А осенью хорошо проглатывались “совки”: “Москва майская”, те же “Московские окна”, “Эх, путь дорожка фронтовая”. Вещицы эти снимали, как паутину, налет осенней тоски с полусонных, чуть качаемых поездом, лиц.

Зимой лучше всего продавалось всё русское, но перелицованное на чужеземный лад: “Ехал на ярмарку ухарь-купец”, «Выйду на улицу – свету нема...», что-нибудь еще в таком же роде. Здесь у Сакса получалось хуже, и Банжонок ликовал, при игре подпрыгивал, обкручивал банджо вокруг руки, даже как сторож деревенский побрякивал. Потому Сакс и звал иногда Банжонка: “бублик с балалайкой”. И еще звал непонятно, звал вроде музыкально, но вроде и ругательно: “субпассионарий”.

На “субпассионария” Банжонок обижался, но не вусмерть, не навсегда, быстро отходил.

Нынешняя осень обильной была. Но за осенью встала ледяною горкой зима. Электрички той зимой почти не отапливались, губы и пальцы иногда немели, надо было с поездов слезать, возвращаться в оркестр. Их еще, пожалуй, взяли бы, они же не лабухи, классные ансамблисты, два года назад прошли-проехали вместе с оркестром пол-Германии! Но... Зима навалилась, началось зимнее непонятное верченье-круженье-сованье: взад-вперед, как пурга, вниз-вверх, как усталая любовь, когда забываешь, зачем любишь, а только движешься, движешься туда-обратно, туда-обратно. И ни конца, ни краю этому движению. Они не понимали, кто это их так кружит, кто волоком тащит по сверкающим россыпью снегам, кто кидает из тамбура в тамбур, кто оттопыривает карманы полушубков: кто, кто, кто?

Первым понял Сакс. “В стиле рашен-фолк”, – коротко и непонятно объяснил он. Но здесь и Банжонок тоже понял. Да и чего уж тут не понять! Допились, доигрались! Теперь бело-зеленая маета из лап не выпустит. Оттого-то в глазах у них – одни сумки, кудельки, воротники, перстни на пальцах, шубы, телогрейки, капли смеха на усах, капли гнева на женских щёчках, снова сумочки, сумки, рюкзаки, и под конец – высланные бархатом изнутри “атташе-кейсы”.

Они не могли отлепиться от всего этого, не могли соскочить, как с подножки поезда со своей вагонной музыки, не могли выпутаться из своего продолговато-овального, белого в зеленую крапинку транс.

– Банжонок, а что такое Святки? Только точно мне и подробно! В общих чертах я и без тебя, дурака, знаю, – пролаял как-то поутру Сакс, выдираясь с футляром из дверей квартирki своей, в которой жили они теперь вдвоем, резко турнув бывшую Саксову сожительницу, какую-то михрютку.

– Я чё те, поп? Откуда мне знать-то?

– Мне сволочь одна вчера сказала. Святки, мол, а вы лажу играете. Вот я тебя, бублик, и спрашиваю...

– Ну, точно не знаю. Что-то между чем-то... Может, чё святое. У Чайковского есть. Хочешь, сегодня эти Петенькины слезы сбцаем?

– Не... Никто и не вспомнит, что мы какие-то там чайковские “Святки” играем. Я не про то... Я вот чего: ну, Святки, и что? Мы себе играем! Хотим лажу – хотим что другое. И плевать нам на всё, и кончим с этим...

Последний день Святков распечатали они сочно, со вкусом, с хрустом. Вскочили в богатую электричку с туристами, шедшую с Ярославского на Сергиев. Музыка всем и по-настоящему нравилась, в поезде было оживленно, нищих было мало, они не путались, как повелось в последнее время, под ногами, не забегали вперед, не слизывали жадными нечистыми языками нежно витавшую в вагоне пенку человеческой гордыни.

“Ах, Банджо, Банджо! И Сакс – тоже ах!” Тосковала, хохотала, затем тосковала вновь и рвала самой себе сердце их музыка. “На хрена вы тянете на себя, как душное одеяло на голову, веселье это? Или наоборот: на хрена со своей музыкой в снега эти, в снования эти беспрестанные вниз головой летите?”

Но они не слушали, что говорит им собственная музыка, ноги несли и несли их вперед, дальше, быстрее. Они словно убегали от чего-то: от грозной ясности, от всех на свете смыслов, от помыслов...

Сакс был нервный и гордый. Банжонок – лапоть колупаев. Сакс был высокий и в дугу гнутый. Банжонок неровноглазый, редкозубый, низкорослый желтоволосик, – притом как квашня широкий. У Сакса была бархатная буроватая бородка, он ее мыльной пеной тёр и никому до нее пальцем дотронуться не разрешил бы. У Банжонка – отвислый второй подбородок и он всякому встречному-поперечному давал подбородок этот шёлковый пощупать. Характеры не сходились, а вот музыка, сдвоенная, смешанная, словно пиво с водочкой, многих с ума сводила.

В тот день их “подняла” приличная компания. Это были, понятно, не сами “новые русские” и не какие-то дети олигархов – те в электричках не ездят, – а так, ребята с деньгами. Но приличные. Не пошли бы ни Сакс, ни Банжонок ни с какой рванью.

– Играете до вечера, бабки тогда же, – тихо, но твердо сказано им было.

Игра получилась ничего себе. Играли на какой-то двухэтажной деревянной даче, было тепло, и звучало в небольшой комнате с красной мебелью как надо. Но потом ребята денежные стали их дразнить. И Саксу это было неприятно, потому что ребята цепляли то, что его и так давно мучило.

А мучило его многое: мучило то, что Банжонок часто придает своей лопате с веревками слишком большое значение, словно может на ней играть один, без него, Сакса; мучила неопределенность, мучили задорные крики Банжонка, его уверенность безграмотная во всем, во всем...

Надо было партнера менять или в оркестр возвращаться. Ни на то, ни на другое сил у Сакса не было. Оставалось одно: нервничать, надрываться душой, грызть самого себя. Потому что грызть Банжонка было бесполезно: эта дубина короткопалая никаких “грызений” не почувствовала бы. А тут – денежные ребята на дровяной даче. Что они, не могли себе на свои зелёные дачу каменную снять? Холодно, холодно! Или даже тепло, но как-то зябко...

Зябко и неуютно делалось Саксу от всех этих передразниваний. Так зябко, что, пожалуй, и на улице под елками лучше. Сакс приехал издалека, с югов, и хотя приехал давно, к морозам все никак привыкнуть не мог. А Банжонок был местный, тутошний. Ну, не совсем местный, а какой-то пензенско-вологодский, какой точно – Сакс не знал.

Ребята денежные всё дразнились и дразнились. После каждой вещи кто-нибудь из них отзывал Сакса в сторону, он так вместе с “дудкой” и шел, каждый раз надеясь, что дадут зеленую и он спрячет ее в раструб, чтобы этот бочонок не прознал, не заметил. Но ребята как сговорились, и всё твердили: “Ты мастер, ты Сакс, ты ведешь, а он только выделяется, поддукивает только...” Или, может, это Саксу только казалось, что они говорят так. Может, может... Принял он хорошо, принял, как давно не принимал; пил он, конечно, и раньше, но

только после игры и только на холоде. Таким манером, маленькими глотками, пить научили его давно. Он всегда так и принимал. А иначе нельзя: еще студентом Гнесинки "отдул" себе Сакс левое легкое.

Но сегодня ребята денежные завели его как следует, и он выпил какой-то бурды. И от этой бурды красной все перед глазами его полиловело. Пора было кончать. Но он все играл, надрывался, именно этот призыв надрыва всем и нравился. И хотя давно надо было сменить трость, пора было вылить слюну из раструба, потому что слюна уже булькала и хрипела, – он не останавливался, зло и коротко кивая Банжонку: давай, давай!

Банжонок посматривал на Сакса с беспокойством. Чудрила! Ребята нормальные, ничего такого не требуют, не надо под стульями кукарекать, не надо в подпол лезть, ну сыграли, ну отдохни, никто тебя за губу не тянет. Нет, дует, талантишко свой показывает. Нашел где показывать! Хотя верно, играет Сакс – не снилось никому. А на поезда со зла пошел. А может, от болезни. Даже ему, Банжонку, и то на поездах не в честь. А уж Саксу – подавно! И чё он в электричках околачивается? Надо его, дурака, к доктору отправить, – нажимал про себя на "о" Банжонок, – надо, да ведь не пойдет. Скажет: я сам свое легкое знаю, нечего мне к моллюскам этим ходить. Моллюски... Придумает тоже.

“Кончать надо с этим козлом по дачам тилипаться. Другого надо, другого! Чтобы сёк, кто с ним играет, кто музыку свою на этих ублюдков тратит, чтоб понимал: вот дотратит он свое, доиграет этот квадрат, эти шестнадцать тактов, – и тогда всё! Потому что и жизнь – как вещица музыкальная: недоиграл, недоимпровизнул до конца – пиши пропало! Поэтому до конца, до конца тянуть пьеску надо! А потом – весна. Потом – тепло! Потом пьеска новая сочинится: юг, море, масло оливковое ковшами на грудь. Нет, только поглядите на дурачка этого – сбегал на вешалку, перчатки с обрезанными пальцами принес. Ему холодно! Да его в погребе оставь – ничего с его пальцами, с его сучками обкусанными не станется. Или станется? Может, станется, а?..”

Ребята денежные оказались отнюдь не дерьмом. Увидели, что наклюкались Сакс с Банжонком или от тепла развезло их, дали провожатого, денег дали, отпустили с миром. Денег дали, правда, чуть поменьше, чем обещали, но все равно прилично. “За талант заплатили”, так и сказали. Ясно, за чей! Но деньги-то все одно на двоих. А провожатый довез их до Лосинки и слинял, дальше не пошел, хотя ребята денежные наказывали ему до самого дома лабухов проводить.

- Где, парни, живете?
- На Лосе, рядом...
- Ну, топайте дальше сами.

Не потопали, потому что Сакс решил сыграть еще. Бурда ходила, взрывалась, шипела в нем. Бурда плясала и похихикивала в кишках у Банжонка. Они зашли в вагон, сыграли одну только вещь и тут же вывалились обратно. Играть было тяжело, подкатывала к горлу блевотина, голову сносило с плеч долой, и она – громыхая, повизгивая – катилась по вагонному настилу, а затем, вздрагивая, замирала где-то в стороне, отдельно от тела. Дрожали руки, трепетали у самого горла предсердия...

Идти домой Сакс не хотел. Верней, не хотел вести домой к себе Банжонка, но сказать ему об этом даже во хмелю не мог.

“Хватит, – решил Сакс, – хватит! Пора отвадить его!”

Он стал поить Банжонка из бутылки, которую сунули ребята денежные в карман его полушубка. Банжонок пил, но пьянел слабо. “Надо завести его подальше и там оставить. А сам поеду к этой... к михрютке. Там он не найдет, отлипнет... А я прямо завтра в оркестр сяду. Без него... Со стукалкой этой из оркестра погонят, а одного – возьмут... Ну а сам, без меня, он туда не сунется”.

Банжонок снова выпил. Но на ногах пока стоял твердо. И тогда Сакс пообещал подставить Банжонку что надо.

– Пошли туда, к окружной! Видишь, сарай!

– Чё туда, дурила? Домой к тебе пошли! Чё ж ты раньше не сказал, я б не пил...

– Не... Дома не. Не хочу... В сарай пошли...

Банжонок в сердцах Саксову бутылку почти до дна дососал, его враз зашатало, и он, чуть отдышавшись, стал на всю платформу орать: пошли, пошли! Петька ходил! Парней водил! Он кричал, подбрасывал вверх легкий кожаный футляр со своей стукалкой, и сулил неведомо кому:

– Выкину эту дуру! На балабашку – (так называл он свою давно проданную балалайку) – перейду! В Нижний вернусь! В оркестр народный сяду! А ты все будешь тут в вагонах дуть! Ну? Будешь? Говори? И сарай мне твой не нужен... Я не этот, не голубой... я не...

– Пошли, пошли, – толкал его Сакс. Он знал, что Банжонок просто “делается”, что он и правда никакой не голубой, просто баб боится. – Это сегодня ты так поёшь, а завтра опять как репей вопьешься...

В сарае этом, еще с лета примеченном и определенном Саксом совсем для других дел, они тоже сыграли. В сарае света не было, но наискосок из открытого гаража бил, выплескивался, трещал, а затем остывал на холоде белый, целокупный, не распадающийся на куски и мелкие осколки свет. Собственно, сыграл один Сакс, и сыграл только импровизацию из “Московских окон” Получилось не очень. Квадрат был нарушен. Сакс вышел на основную тему с опозданием в один такт. Это его еще больше растеребило. А Банжонок не играл. Он сел на ящик и тут же в две ноздри захрапел.

“Набрался-таки, сволочь, – думал Сакс. – Ладно... Во сне мы тебя как раз и доставим, пальчики тебе попортим... Придешь через денёк: чё-то я играть не могу, – скажешь. Не можешь?! Да ты и всегда, Банжонок, не мог! Всегда! Это я, я тебя жалел! И что ты мне, холуй укороченный, ответишь? По морде слезы размажешь? Но я не пожалею. Нет!”

Сакс повалил спящего Банжонка на снег, отволоч его, и во сне крепко державшего футлярную ручку, чуть в сторону от бывшего из гаража света. Там, в темноте, перевернул кое-как дрючок этот на бок, содрал, задыхаясь от усилий, с левой руки Банжонка перчатку, уже не с обрезанными пальцами, а целую, и освободившуюся кисть руки воткнул по самое запястье в снег. Морозу было градусов пять-шесть. Но утром они слушали погоду. Погоду они слушали по несколько раз на день. Сверяли радиосводку со сводкой ТВ. Погода была их, как они говорили, “бзиком”. На сегодняшний вечер обещали сильное похолодание, связывали это с каким-то праздником...

Сакс воткнул кисть Банжонкову поглубже. И снег вокруг кисти утрамбовал. Банжонок не шевельнулся: бурда ребяток денежных была с дурманом, видно. Сакс посидел рядом с Банжонком на корточках, ни о чем не думая, потом сообразил: надо идти. Но вдруг захотелось возвратиться в сарай, переиграть импровиз из “Московских окон”, выйти на тему без опоздания. Сакс вернулся и стал играть, и тут мороз деранул его когтями по левому легкому, а потом стал рвать это лёгкое на части. Вскоре лёгкое онемело, биться и пульсировать перестало. Боясь вдохнуть, дрожащими руками, Сакс быстро разобрал и уложил свою чешскую альтушку в футляр. Футляр, мягко клацнув замками, захлопнулся. Сакс поднялся и, выступая на цыпочках мимо лежащего в поддернувшемся сзади полушубке Банжонка, побрёл к платформе.

“Сам-то небось не замёрзнет... А вот пальчики – тю-тю...”

Сакс ускорил шаги, потом побежал, но тут же остановился. Резкая, рвущая надвое боль в легком возобновилась, стала нарастать, сделалась непреодолимой. В легком засвистела и захлюпала огромная, с рваными краями дыра, онемение кончилось, а наркоз и хмель, –

словно затычку из бочки, – выбили из тела одним ловким ударом. Сидя, он все старался повернуться лицом к станции, но сделать этого не мог.

Из гаража выглянул маленький, седенький, в кудряшках и без шапки старичок, протер руки тряпкой, весело крикнул: “Помогайт фам?”

Сакс медленно покачал головой. Он не хотел ничьей помощи. Он хотел, чтобы легкое было здоровым. Он хотел в тепло, хотел играть, хотел выстроить как следует конец импровизации из “Московских окон”. Но смог лишь – низко, тоскливо – что-то неясное прокричать.

От крика этого Банжонок и проснулся. Проснулся и сразу выдернул из снега левую ладонь. Тысячи коротких тупых игл, вколотых в пальцы, задрожали, заныли, вонзились еще глубже. Банжонок увидел свою, содранную с руки перчатку и чуть вдалеке, в электросумерках ночи, сидящего на снегу Сакса. Сакс только что кончил орать. Банжонок встал на колени и начал оттирать левую кисть снегом. “Дык не отмерзнет... Ну пошутковал, ну пошутковал, дурила. А завтра – играть. Или хватит на завтра бабок-то?..”

Банжонок тер руку и тер, Сакс сидел и сидел.

“Чё он сидит, дурак?”

Банжонок подхватил футляр с инструментом, пальцы левой руки поглубже засунул в рот, вжал в нёбо, в язык, и пошел, широко себя в стороны вышатывая, к Саксу. Сакс на Банжонок не смотрел. Он сидел, выпучив глаза, как рак. Из рта его, дымя, текла тонюсенькая струйка темно-фиолетовой ночной крови.

Банжонок словно по голове лопатой огрели.

– Сакс, – тихо позвал он. – Дурила...

Тот не ответил.

Тогда Банжонок отскочил, зацепился ногой за футляр с чешской “дудкой”, рванул бегом к станции.

“Скорую” ему! Я ему “скорую” – сюда... Или лучше дотащить его? Нет, вызову! Или...”

Банжонок вернулся, схватил Сакса за воротник, потащил к станции, увидел, что саксофон остался, вернулся, привязал футляр шарфом к Саксову рукаву, потащил опять.

Сакс ничего не говорил, но всё видел. Странно, искаженно, но видел.

Видел он: бежит скоренько Банжонок, аж голову пригнул. Пыхтит, как бочка! От боков его белый пар отходит, из ноздрей, из двух дырок, чёрный пар хлещет, сверху и из темечка, бьёт пар розовый. А он, Сакс, сидит на холме близ михрюткиного дома, и ничего ему от мороза не делается. Как будто не на снегу сидит, на песке. Тепло, ясно вокруг. И не муторно вовсе, не тяжко. И чем дальше, тем ему легче, воздушней... А этот бочонок! Кто бы видел эту харю раздутую, кто б башку эту дурью видел! Катится, пыхтит...

Сакс следил теперь за Банжоном доброжелательно. Без ненависти и без упрека следил. Следил, не зная, что умирает и умрет, если ему не помогут. Следил, не зная, что смотрит на смешно мечущегося человечка уже не он сам, смотрит колеблющаяся, как тот пузырек газа на высунутом языке, – вправо-влево, туда-сюда, – смотрит его измочаленная, издерганная и для земной жизни уже почти не пригодная душа.

Банжонок медленно подвигался к станции.

Он бросал Сакса и возвращался к нему, бегал звонить и, не одолев даже половины пути до телефонной будки, катился по снегу назад.

– Брошу тебя, козла, брошу! – вопил Банжонок, тащил за собой Сакса, и все не мог дотащить его. Потому как станция не становилась ближе. Наоборот, отодвигалась, в резких и медленных вспышках холода, – словно видел он её через стеклышки перевёрнутого наоборот бинокля – отдалялась сильнее, сильнее...

– Сакс, дурила! Бросить тебя? Бросить? А?

Сакс отвечать не хотел. И немота эта, как отмерзший на морозе кусок человеческого мяса, дотрагивалась до щёк Банжонка неживой, наждачной кожей.

А из расширяющейся немоты наплывала на Сакса с Банжонком ночь. Падал на землю острый и сладостный холод. В хрустком воздухе становилось льдисто. Аспидно-сизая ртуть разрывала градусники, скатывалась горошинами вниз и, – прожигая снега, – уходила в землю. А потом опять воспаряла в небо и там уже грохотала всласть громадными, еле видными оку, шарами. Радостно грохотала и грозно, кратко погромыхивала и раскатисто, и грозно опять.

Грохотала зима оттого, что кончились вдруг хмельные Святки и стала спускаться на сияющие электроблеском престолы Москвы, на ее холмы и купели ночь ясная, ночь кристальная и ночь строгая: ночь Крещения Господня.

## Взлет

Яша Мырдик прикупил самолет. По случаю, недорого. Самолет не летал, но на вид был хоть куда. В поселок его привезли на грузовой открытой платформе. При въезде на поселковый холм самолет качнуло, он резко накренился вправо, но устоял.

С тех пор чешская зеленоватая “Сессна”, с бодро заводящимся, но быстро гаснущим мотором, стояла близ леска, на отшибе, у вымощенной кирпичом бывшей вертолетной площадки, – вокруг которой почему-то не росла трава, – без всякого дела.

Поселковые подростки самолет не трогали. Даже и близко не подходили. Потому что Яша в первый же день пугнул их: мол, самолёт заминирован, открывается только персональным кодом, а кто просто так сунется – тому уши поотрывает, тот и костей не соберёт, тот медным тазом накроется, и так далее, и тому подобное.

Яша слыл самым рискованным предпринимателем в округе.

Он уже утопил в болоте большегрузный фермерский трактор и разбил две чужие иномарки. Заплатив за машины вдвойне, Яша ходил по поселку овеванный славой и гордостью, ожидая новых легендарных обстоятельств, для применения своей денежной силы.

А сила эта денежная от Яши не уходила: деньги у него не кончались. Они полюбили Яшу с детства, и любовь их не знала преград. В ответ на эту любовь Яша признавал деньги, как факт.

Однако деньги деньгами, а только и вся остальная жизнь выглядела в Яшиных глазах интересной и привлекательной. Он был выдумщик и насмешник. Правда, насмешки у него получались необидные и для осмеиваемых – не слишком болезненные.

Но самыми важными являлись для Яши различные поступки и действия. Здесь Яше в посёлке не было равных.

Вот потому-то местные подростки, в заминированность самолёта сразу поверили и, как уже было сказано, к маленькой ловкой “Сессне” даже не приближались.

Однако, чтоб слегка Мырдика поддеть, они на единственной улице посёлка наперебой орали ему вслед всем хорошо известный, но специально к этому случаю переименованный стишок:

Слышь? Яша Мырдик купил самолет.  
Больше в поселке никто не живет.

Яша вполне мог бы пропустить стишок мимо ушей. Но не таков был Яша! И он сочинил ответное двустишие, выкрикивать которое, конечно же, не стал, а просто вывесил его в виде плаката недалеко от поселкового клуба, в недоступном для посягательств месте:

Синее озеро, красный гуляш!  
Мой самолет плавно сел на ваш пляж!

В общем, время вокруг самолета текло весело. Все знали, про то, что он заминирован, и всех это сильно забавляло.

И только Настасья-бабка ничего про всё про это не знала.

Жила бабка одиноко и самолет ее сразу пленил.

– Крылья-то, крылья! А бочки, а колёсы! – приговаривала Настасья.

Дошло до того, что бабка и сама решила создать летательный аппарат. Правда, тряпичный. Услышала по радио, что кто-то выткал из льна самолёт и решила использовать такую возможность.

Яша – работал с нелетающей “Сессной”.

Настасья-бабка ткала самолет.

Так пути их сближались.

Как-то, собирая придорожные, случайно посеянные ветром в подмосковном поселке французские грибы “шампильоны”, и в очередной раз увидав Яшин самолет, Настасья-бабка загорелась мечтой: взлететь!

Она долго не решалась, но потом всё-таки пошла к Яше и стала просить его: “Слетаем, соколик...”

В момент бабкиного прихода Яша парил в облаках. Его самолет плавно покачивал крыльями. Яша видел дальний пожар, какие-то лесные овраги и даже восходящий за оврагами зеленовато-бесплотный дух болот и гатей.

Летать ему было хорошо, приятно.

Бабкина просьба прервала Яшин бесстрашный полёт.

Он нахмурился и стал думать.

Дом Яши Мырдика – в два этажа, с полуподвалом – стоял на вершине крутой горки. А на другой похожей горке, примерно в километре от первой, стоял самолет.

Дом у Яши был богатый: шкура белого медведя, рога изюбря, две кабаньи клыкастые головы – и это не считая ловко таксидермированной пернатой мелочи – сильно грели Яшину душу.

Однако, богатство Яшу не портило. Наоборот: он становился заметно добрей и мягче к тем, кому – не по крупному, разумеется, – помогал.

Закончив раздумывать, Яша сказал:

– Хорошо, приходи завтра с утра на вторую горку. Только чур, глаза во время полета не открывать. Иначе со страху обделаешься. А у меня самолет новый, никаких посторонних запахов, в смысле мочи и всякого там зловония – не потерпит.

Настасья-бабка мелко закивала головой и, загодя жмуря глаза от счастья, ушла.

Весь день Яша Мырдик готовился к предстоящему полету.

Он не хотел ударить в грязь лицом. И конечно, ни за что не хотел признать: самолет не летает. Яша спустился в подвал и принес оттуда две длиннющих веревки. Спрятав веревки в мешок, сходил к самолету и, привязав по веревке к каждому из крыльев, перебросил концы на рядом стоящие деревья: каждую веревку на свое особое дерево.

После чего отправился за верным своим другом: Антипкой-Пирожком. Антипке было всего тринадцать, но он был шустр и весел. Любил также втихаря пробовать Яшин английский джин.

– Когда мы с Настасьей-бабкой завтра влезем в самолет, ты начинай по очереди тянуть за веревки: сначала за одну, потом за вторую. Самолет начнёт потихоньку качать крыльями. Так ты сильно не дёргай! А то ещё повредишь чего. Подёргаешь десять минут – получишь пятьсот рэ. Покачаешь пятнадцать – получишь всю тысячу.

На следующее утро Настасья-бабка, обмирая от страха и удовольствия, семеняла на облысевшую самолетную горку.

– Пришла? – хмуро спросил Яша.

– Ага, – опасение сказать лишнее слово, да ещё кислота, образовавшаяся во рту оттого, что Яша может передумать, и она, Настасья, не взлетит, не сможет хоть на краткое время уподобиться ангелам Господним, – томили ее.

– Ну, раз пришла – залезай, – сказал Яша, – я тебе и лесенку приготовил. Только смотри, если глаза откроешь – полет может закончиться трагически. Понимаешь, что это значит?

Настасья-бабка опять мелко и часто закивала головой.

По очереди влезли в кабину. Яша сел за штурвал, еще раз придирчиво оглядел бабку, привязал ее на всякий случай к креслу магазинным шпагатиком, и тихо крикнул:

– Глаза закрыть, глубоко вдохнуть... Взлёт!

Стоя на месте, самолет качал и качал крыльями. Работающий мотор усиливал впечатление от полёта. Бабка визжала и пела. Довольный Яша и сам на минуту закрыл глаза. Прерванный вчера Настасьей полет, который он в порядке тренировки проводил у себя дома, и в котором виделись ему разные разности – успешно продолжался.

– Полет окончен, – сказал, наконец, Яша. – Можно отвязаться от кресел, разрешено курить.

Настасья-бабка вылезла из “Сессны” помолодевшей лет на тридцать. Невдалеке, за деревом, подхихикивал Антипка-Пирожок. Яша скрытно показал ему кулак. Антипка смолк.

– Награждаю тебя, Настасья Павловна, за смелый и дерзостный полёт, – важно сказал Яша и вынул из кармана неизвестную бабке радужную бумажку, на которой сияла по-иностранным цифра 10.

После взлета и мягкой посадки Яша Мырдик и Настасья-бабка сильно сдружились.

Яша часто ходил по полям, бабка семенила за ним. Яша был плотный и подвижный. Бабка – высокая, чуть сгорбленная и застенчивая. Яшину тирольскую шляпу с черно-белым сорочьим пером, иногда по дороге сдувало. Бабка кидалась шляпу поднимать, Яша широким жестом её останавливал.

Дружбе их не мешало ничто: ни Антипкин смех, ни разность финансовых положений, ни весовая разница их самолетов – тряпичного и стального.

Вскоре Яша купил себе фрак. А Настасье-бабке подарил французский жакет.

– От “Диора”, – предупредил Яша, который только что к своим двумстам тысячам евро прибавил еще столько же. – На огород, гляди мне, не напяливай.

– Только в гроб и надену, Яшенька! Только в гроб, – веселилась Настасья.

Возвращаясь с полей, Яша иногда оглядывался назад, на семящую бабку и скупно перебрасывался с ней парой-тройкой узкоспециальных научных слов.

Их политические взгляды в последнее время тоже стали сближаться. Во всяком разе и Яша, и Настасья-бабка теперь в один голос твердили: легкому одномоторному отечественному самолету, для нужд сельчан и продвинутых фермеров – быть!

## Мясо в цене!

Эта лавчонка стояла на отшибе, в Мытищах.

Несколько ряженных вломились в неё ранним утром. Накрапывал дождь. Иногда дождь переходил в снег. Шла масленица. Начинался широкий четверг.

– Сыр, мясо и колбасу – в мешки! Деньги – на прилавок! Бутылки – в ящик!

Главный ряженный, в маске гуся, в колпаке с бубенчиками, в сером, словно бы сдёрнутом с рояля холщовом чехле, в скоморошьих, наполовину зелёных, наполовину красных штанах – крикнул это ещё с порога. В помещение он вошёл последним: оглядывая поле с осокой и тесно прижатый к лавчонке холм, случайно упёрся взглядом в поперечину, укреплённую на врытых в землю столбах. На поперечине значилось:

### «Здесь будет военно-мемориальное кладбище»

– Чего копаетесь? И правда, как на кладбище! – загоготал гусь в чехле.

Встав между окном и прилавком, он подкинул и ловко поймал нешуточную городошную битую. – А ну шевелись! Пошлину с вас взимать будем... «Мыт» нам платите, «мыт»!

Хозяин лавчонки, слушавший до этого музыку, дёрнул за проводок, – малый наушничек упал на плечо. Сделав два-три шага по направлению к прилавку, где, втянув голову в плечи, стоял продавец, он хотел ему что-то сказать. Но слова пропали.

Продавец, однако, быстро всё понял, стал распахивать в пластиковые мешки всё, что попадалось под руку: мясо, рыбу, молочку...

Ряженные – в масках козы, коня и рыси – маленькие, как дети, или на самом деле дети, уже успели оттащить ко входу три полных мешка, когда отворилась внутренняя дверь и в торговое помещение вышел из подсобки огромный, с несоразмерно длинными руками, туговатый на ухо, югослав. Никто точно не знал: серб он, хорват он, или кто-то еще. Слышали – из Боснии, стало быть, босняк. Строго говоря, никто о нём особенно не думал, жизнью его в своих мыслях не распоряжался. Видели только: босняк всегда что-то ест. А не ест – так подметает. А не подметает – так возится с проводкой.

– Кто его разберет, что он за птица? – говаривал про босняка (но, может, и серба, может, и белого хорвата) хозяин. – Крестится – по-нашему, а остальное меня не колышет. Рабсила пришла, рабсила ушла. Всё!

Хозяин лавчонки без конца слушал музыку, вяло улыбался покупательницам, временами болтал без умолку. Поэтому про «рабсилу» босняк слышал часто.

Слово ему нравилось. Но понимал он его по-своему: «*Раб силы. Р-р-раб с-с-силы!*» Звук слова был приятен, хорош. Звук рождал новые, едва уловимые боснячком смыслы.

Одетый в серый длинный плащ с обрезанными по локоть рукавами – босняк перестал жевать, глянул удивленно на ряженных.

Он был бы красив, когда бы не перебитый посередке нос. Был бы не страшен, если бы не обезьяньи – от спокойной мощи казавшиеся бесчувственными – предплечья и кисти рук. Ну а не был бы глуховат – нарастающая глухота как раз и требовала непрерывной жвачки – был бы совсем, что надо.

Босняк проглотил кусок и прочистил горло. Кашель его – хриловатый, да ещё с каким-то утробным эхом – заставил и продавца, и хозяина съёжиться. Все находившиеся в лавчонке, заворожённые бугрящимися и под плащом, и в боснячком горле комками силы и страсти – тоже на миг застыли.

Прокашлявшись, босняк из холщового подсумка, который всегда висел у него на поясе и на который никто не обращал внимания (думали там разводной ключ или мелкий слесар-

ный инструмент), вынул остро заточенный – сталь в местах заточки сверкнула крупинками – колбасный нож.

Вмиг подступив к главному ряженому и двумя ударами ножа спустив с него холщевый чехол, крепившийся на завязочках, третьим и четвертым ударами босняк рассек пояс на клоунских штанах. Штаны тоже упали. Остальные ряженные, увидав главного в женской лиловой кофте и вытертых до дыр трусах, оторопели.

Сильнее всех растерялся сам главный ряженный. Лишенный масленичного костюма, он словно потерял полпуда спеси. Решительность – как воздух из проколотого рыбьего пузыря – тоже ушла из него.

Видя нетвёрдость главного, и вмиг почуяв: остальные – дети, раб силы отступил на шаг, примерился, развернул растерявшегося противника лицом к двери, приспустил ему полосатые трусы и отсек от розовой ягодицы порядочный кусок мяса.

Мясо, приоткрыв дверь, босняк выкинул за порог.

На улице дождь незаметно перешел в снег. Чуть похолодало. Кровь текла по ноге ряженого, ошалевшего от утреннего, впервые в жизни предпринятого налёта. Несоразмерность рук слесаря или простого подметальщика – терзала его.

Босняк протёр нож о выдернутый из стопки целлофановый пакет. И нож, и пакет спрятал в холщевый подсумок, бережно переступил через осевшего на пол ряженого, глянул весело на его дружков и вышел на улицу.

Там он увидел: близ лавчонки сидит рыжий лохматый пёс, а чуть поодаль, за мемориальным стендом, одиноко (вроде ему ни до чего нет дела) топчет грязь милицейский сержант.

– Мясо в цене! – крикнул раб силы сержанту, и не торопясь, стал огибать притиснутый к лавчонке, утыканный сохлым бурьяном холм.

– Спартаковский болельщик, – определился с вышедшим милиционер, и раздраженно глянул на дверь лавчонки. Та всё не отворялась.

\*\*\*

День разрастался. Как серый хищный цветок, шевелил он газетными лепестками, выставив штыковой лопатой нечистый язык – ловил на него редкие снежинки.

В тех же Мытищах, недалеко от леса, но на порядочном расстоянии от лавчонки – жила Баба-Шмаба. Еще раз оглядев зашнурованные доверху ботинки и затерев сухой травой на одном из них капельки крови, босняк к ней и направился. По дороге он купил и натянул поверх плаща куртку с рукавами.

Баба-Шмаба жила припеваючи. Ей было тридцать: щеки красные, грудь торчком. Дух азарта играл в ней. Правда, иногда дух этот размягчался до плача. Может, потому, что звали её ещё и «Вискозой». На это имечко – перешедшее к ней по наследству от матери и бабки, всю жизнь ишачивших на фабрике искусственного шёлка – она отзывалась неохотно. А на Бабу-Шмабу – всегда пожалуйста.

Дом у Шмабы был деревянный, но справный. Жить не тужить в нём можно было ещё годков сорок.

Когда явился босняк, Баба-Шмаба пересмеивалась с гостем. Гость – торгош с лесопильного рынка – рассыпался в колкостях. Баба-Шмаба слушала его весело, но вполуха. А тут – босняк. Выбор был сделан сразу.

Торгош был стар. Босняк был молод. («*Серп и молот* он у нас», – повторяла, хохоча, чьи-то слова про балканское его происхождение, Шмаба).

Торгош знал про любовь многое, но мало что мог. Босняк был в любви малоопытен, к тому же диковат. Но тем-то Шмабе был он и дорог. Иногда – приятно смешон, мил.

Именно об этом Шмаба и собиралась объявить вслух. Но не успела: босняк, заведя торговца с лесопильного, круто развернулся и пошел туда, откуда явился. По дороге от обид и несправедливости даже скрежетнул зубами. Ну а уж после скрежета выкатилась на щеку его круглая, мутно-белая слеза.

– Стой, – позвал торговец с лесопильного, догоняя босняка во дворе, у сараев. – Стой! Что мне твоя Баба-Шмаба? И тебе – если разобраться – что она? Идем-ка ты лучше со мной!

Стародревний торговец уже понял: с Бабой-Шмабой у него сегодня ни черта не выйдет. Так хоть югослава рукастого не упустит.

– Пошли-пошли! Будут тебе щи с приварком, будет нормальная – ты хоть знаешь, что это такое? – работа. У тебя ручки – как ноги! Отхватил деньгу – и пожалуйста: колбаска-шмалбаска, бабы-девки... Сколько хочешь, столько и купишь. А эту дешёвку – брось. Руки – в цене. Сила – в цене. А бабы – те без цены ныне. Одно зловоние и пакости от них!

Босняк такие слова не одобрил. Однако смолчал.

Они ушли. По дороге раб силы несколько раз оглядывался. Баба-Шмаба смеялась, кидала с крыльца скорлупки семечек горстями ему вслед.

На лесопильном рынке – рынок ещё называли хозяйственным и дровяным – они не задержались. Пройдя рыночные ряды насквозь, вышли к лесу. Сзади кричали и комично фукали ряженые. Не те, что утром, другие.

– Ты это, слышь... – торговец замялся, – не дрова рубить идешь. Так ты... Будь поумней, что ли. И поговорчивей. Вот он тебе всё расскажет. – Торговец махнул рукой в направлении деревянного новенького строения с неостеклённой терраской. Из-за угла дома выткнулся малорослый, подвижный, ни на миг не останавливающийся мужичонка.

– Николай, – представил себя мужичонка. Он подмигнул торговцу, умильно глянул на босняка, сказал: – Идем, керя, со мной, тут рядом.

Они подошли к лесу почти вплотную.

– Куда дальше? – спросил босняк.

Николай живенько так рассмеялся.

– А всё. А уж пришли мы. Вишь, керя, сарай? Тут такая тема. Есть у нас в Мытищах «Торговый зал оружия». Там у них всё – чин чинарём. Ну а у нас тут – стенд. Ну, вроде филиал. Надо же людям оружие опробовать! Иногда и просто так пострелять. Мы стенд и устроили. Кабанчиком у нас побегаешь? А то давай – лосём. И не опасно ничуть. Им в тебя попасть – как на ровной дороге упасть. – Николай слотнул слюну. – У меня шкуры в сарае, идем! Вот и задаток, – он вынул деньги. – Мы на тебя ещё и бронежилет нацепим. Из композитных материалов, хотьковский. Для космических нужд шили. А опустишь-ка ты на четвереньки. Я тебя на размер прикину. Хорошо, ну! Вылитый лосяра... – От нетерпения Николай крутанулся на месте.

– Кончай травить баланду! Напяливай на него шкуру! Скоро гости подвелят!

С неостеклённой терраски спустился толстопузый матрос: в джинсах, в тельняшке, в бараньем вывернутом тулупе. На голове, лентами вперед, бескозырка. Взгляд пьяноватый. В руках – роскошно отделанное ружье с оптикой.

Босняк медленно опустился на четвереньки. Постоял, как бычок, подумал. Но вместо того, чтобы идти примерять шкуру, мощно толкнулся несоразмерными руками и на четырех лапах, как зверь, кинулся к пьяненькому матросу. Тот от неожиданности выронил ружье. Босняк ружье подхватил, встал на ноги, пальнул из одного ствола. Другой заряд расходовать не стал, крикнул «ложись», и пошёл, посмеиваясь, куда ему надо было.

\*\*\*

У придорожной церкви толпился народ. И не бомжи – ожидавшие, как бывало раньше, бесплатной кормежки – люди состоятельные. Они подъезжали на черных и желтых легковушках, входили в храм напрягаемые собственным величием и внутренней дрожью, а выходили мягкие, разглаженные, часто под руку с отцом Никодимом.

Босняк стоял чуть поодаль, наблюдал. Богато отделанное ружьё он выбросил в ста шагах от стенда. Стрельнул, конечно, ещё раз, для остратки. Спиной слышал, как Николай и матрос крались за роскошной двустволкой, потом что-то кричали ему вслед.

Но сейчас раб силы вспоминать о них не хотел. Словно сквозь дрёму мечтал он про надвигающийся на город Мытищи Великий Пост. Думал и про отца Никодима, чьи светлородость и ясноокость ему страшно нравились, и с которым он осмелился поговорить лишь один раз: на прошлой неделе, про Балканы и Россию. А ещё про то, что именно скрывают люди под масками, когда идет карнавал или, к примеру, масленица.

Босняк любил русских за красоту языка и кураж. Ненавидел – за губельное покорство и душевную слякоть. За то, что многие мужики ходили по улицам, словно их выпустили туда в одних кальсонах. А бабы – через одну – говорили так, словно под языком у них прыгала бородавчатая противная жаба. Слякоть ему хотелось закопать. Дикую приязнь к нищете – выжечь. Но он чуял: над слякотью и нищетой перекинулся, как тот мост, семицветный Великий Пост, сплотивший себя из чьей-то любви, надежд, терпения, робости, смирения и духовного веселья ...

Близился вечер. Кончался широкий четверг. Сумрак – штрих за штрихом – затемнял видимость, заволакивал взор сомнениями, печалью. Нужно было устраиваться на ночь. Возвращаться в разграбленную лавчонку, на тюфяк кинутый абы как в подсобке, раб силы не хотел. Миновав церковь, он углубился в стародачные места: с проломленными заборами, канавами со снежной водой.

По дороге встретила ему Баба-Шмаба. Она искала его. Чинно и благонаравно, пригласила к себе, в Мытищенскую Слободку.

Когда задёргивала занавески, сказала:

– У тебя ручищи – во. У меня ноги – ты только глянь – на полторы версты раскинуты. Чем мы не пара? Я ведь, по-настоящему, не Шмаба. Я – Ляля. Так теперь и зови.

Босняк на эту речь ничего не ответил. Однако, гася свет, вздохнул.

\*\*\*

В то же приблизительно время, в районной больнице умирал главный ряженный.

Не то, чтобы он был смертельно ранен. Филейную часть ему заштопали быстро, хотя кусок, отсеченного босняком, посланный на место фельдшер, так и не отыскал. Кусок, скорей всего, утащила лохматая псина, попавшаяся главряженному при входе в лавчонку. От мыслей про псину, терзающую кусок человеческой плоти, бывший ряженный стал впадать в горячку, а потом в беспамятство. Когда в тяжком жару просыпался – во всем его теле вспыхивала стволовая, всеми голосниками голосащая боль. Боль не снимал промедол, не унимали поглаживанья медсестер и увещевания докторов, получивших от родственников больного на его лечение немалые деньги.

\*\*\*

Вечер не успел ещё перетечь в ночь, а Баба-Шмаба, спрыгнув с высокой кровати, вдруг куда-то засобиралась.

– Ты побудь здесь, я тебе кой-чего притарабаню.

Босняк отрицательно мотнул головой, сел на кровати, полез за одеждой.

Дом Бабы-Шмабы томил его. В углах стояли тени. Тени укоряли, выпихивали вон. Он пытался постичь прошлое этого дома, узнать скрываемую тенями правду. И не только о доме ему хотелось знать – о многом. Однако между ним и правдой стеной стояла жизнь. Сперва балканская, горная, отвечающая эхом на любой стук или крик. Потом российская – равнинно-медленная, темноватая. Жизнь часто подставляла и врала: как Баба-Шмаба, называвшая себя слишком уж по-весеннему: Лялей.

От предполагаемых подстав и дом, и кровать, и тени внезапно показались босняку капканом, ловушкой.

На улице мёртвый снег падал в черную воду. Невидимые, но хорошо слышимые мытищенские ключи струили себя глубоко в земле. Мелкая речка, делавшая изгиб у старинного волока, исторгала пар. Город, скатываясь в речку, как огненное колесо, шипел, остывал.

Из Мытищенской Слободки, босняк и Баба-Шмаба перебрались ближе к центру, к вокзалу. Сквозь них весенне-зимним ветром продирались редкие прохожие, проплывали стайки, весь день ломавшихся на местных рынках, а теперь, усталых и безголосых, ряженных.

Баба-Шмаба оставила босняка на углу трехэтажного дома, недалеко от кафе с неясным названием «Барабура». Сама юркнула в подворотню.

– Хотово, – сказала она, появляясь минут через десять. – Ходь сюды, покажу чего!

Босняк вошёл в подворотню. Баба-Шмаба, заголив ногу, стала вынимать из оттопыренного чулка броши, бижутерию, браслеты. Всё это она, показав босняку, с глуповатой ухмылкой перекладывала в сумочку.

Раб силы отнял у Шмабы сумочку, бросил в черно-снежную воду. Потом, подняв руку, легонько смазал ладонью Бабу-Шмабу по лицу. Та отлетела метра на два.

– Светли дъни, – сказал он. – Светли дъни на пороге, а ты берешь чужое.

– Я ж тебя, дурила, этими брошками кормить-поить буду! У тебя ручищи – во! Остальное – не меньше. Где взять бабла на корм? Ты ж сам говорил: мясо ныне в цене!

– Так. Мьясо в цене, – подтвердил босняк и, достав из кармана синюю лыжную шапочку, чем-то отдалённо походящую на скуфью отца Никодима, пошел прочь.

Выйдя на проезжую часть и перестав слышать причитавшую в подворотне Бабу-Шмабу, в диких огнях и мягких снежинках, он настоящее приближение Великого Поста, как раз и почувствовал. Тут же пришло желание смирить силу, урезонить плоть.

У себя в Мостаре он про пост особо не думал. Тут, в России, такие мысли навязались сами.

И здесь Великий Пост приобрел вдруг очертания человека. Человек-Пост выступил из тьмы без рубашки, в коротковатых не закрывающих щиколотки штанах, с богатырской, раскиданной в стороны бородой. Здоровяк радостно сгибался, разводил в стороны мелкие придорожные ручьи, потом разгибался, набирал снега почище, сыпал себе на голову.

Человек-Пост был блажен и нежно гол. Был просвечиваем огнями насквозь. И ничего лишнего в кишках его, в желудке и в сердце – раб силы не замечал.

Босняк ускорил шаги.

Даже ряженные малолетки, те самые, что ранним утром ворвались в окраинную лавчонку – остановить его не смогли. Вылетев, как брызги из-под колёс, они несколько раз ударили его по лицу, по ногам, в пах. Но не сумели по-настоящему сбить на землю. Припав

на одно колено, раб силы полез за ножом в холщовый подсумок, болтавшийся на боку, под курткой. Малолетних бойцов – как ветром сдуло.

Через пять минут, не доходя до церкви, босняк вышел на Ярославское шоссе. Сперва он хотел ехать в Сергиев Посад, дожидаться Великого Поста там. Уже перешел дорогу, – но потом передумал, вернулся. Пускай лучше эти волнующие дни живут не вокруг него, а в нем. Пусть вокруг бушует сор. Пусть рубщики на рынках кричат: «Мясо – в цене!» Ряженные малолетки орут: «Вали его наземь!» Всё это ничего не значит: сладко терпеть, хорошо жить, не следует умирать.

Он выставил вверх большой палец. Рядом остановился салатový «Жигулёнок».

– Тебе куда?

– В Мостар, – сказал босняк хрипло.

– Ясно, что в Москву, – не дослышал водитель, – куда именно?.. Ладно, садись.

Раб силы решил возвращаться в родные места через Москву.

Москва была как та волшебная гора со множеством отверстий-пещер. Над входами в пещеры звенели сияньем, туго ввинченные, разнокалиберные и разноцветные лампочки.

Вот только ехать в Москву переполнившись лишней силой и страстью, босняк никак не желал. В нем уже и так ходуном ходили Сараево и Сребреница, вспенивались мусорной весенней водой реки Уна, Неретва и Дрина, гомонили предки славяне, принявшие когда-то ислам, а потом снова возвратившиеся в христианство, вскипали Первая и Вторая мировые войны, вспоминался Гаврило Принцип, отряжённый «Младой Босной» к Латинскому мосту встречать венского монарха, въезжал в мозг маршал Тито в американском авто, прикасались к плечам сербские короли, далматинские купцы...

Вдруг босняк рассмеялся. Он понял: сила войны оставляет за собой пепел. От силы воспоминаний остается один лишь туман. И по-настоящему существуют только сегодняшней жар и холод в крови, кровь и слюна во рту, Великий Пост и Великое Воскресение вслед за ним.

– Останови, – сказал он водителю. – Одна минутка.

Босняк вышел. От придорожной церкви они отъехали всего ничего. У забора он приметил подходящую колоду, бережно уложил на нее левую руку, вынул разделочный нож и одним ударом отсек себе большой и указательный пальцы.

Плоть за плотью!

Он возвращал небу то, что утром отнял у ряженого. Кривясь от боли и смеясь от радости, завернул отрубленные пальцы в платок, отнес их на паперть.

Отнятые пальцы были, как изгнание смерти. Он перевязал обезображенную руку платком, поверх платка напялил лыжную шапочку. Выкинув нож, пошел к машине. Лёгкость ли сменила силу, или сила вдруг стала небесной, – он понять не мог. Сообразил лишь: сила смерти – не равняется силе жизни. Идя к машине, он одну силу терял, но взамен получал другую... «Может, это есть сила России?»

Лоб босняка от перетряхиванья важных мыслей вспотел.

– Порезался, что ль?

– Лишнее мясо отсёк.

– Чего? – Мотор жигуленка урчал, пофыркивал, глушил слова.

– Мясо – в цене! И у нас, и там, выше...

\*\*\*

Через год с небольшим и тоже во время Великого Поста, рана в кровь ступни, босняк перепрыгивал с камня на камень. Тридцать евробабов – цыган, боснийцев, сербов – поды-

мали наверх, к бережно возводимому балканскому палаццо бидоны краски, металлопластик, мраморные плиты. Палаццо строили в пышно-воздушном римском стиле.

В горах близ Мостара было холодно. Но обувь давали летнюю. Босняк улыбался. Он отказался от обуви совсем. До окончательного смирения силы и обретения великой свободы оставалось меньше сорока дней. Рассыпались в прах гранатомёты и автоматы, растворился в тумане «Стари мост», разрушенный в 1993 году огнём хорватской артиллерии и потом вновь отстроенный; мост, с которого босняк когда-то хотел кинуться вниз головой, но удержался.

Раб силы ещё раз глянул вниз.

Там, внизу, билась о камни узкая, не шире пятнадцати метров, Неретва. В Мостаре белели мечети. Далёким миражем вздрагивала Адриатика. Вдруг ему вспомнилась Мытищинская Слободка. Вслед за ней – отрубленные и завёрнутые в платок пальцы. Скинув с плеча стальной трос, он всем корпусом развернулся на северо-восток.

Теперь в босняке бушевала не сила. В нём бушевала любовь: к старинному Мытищенскому волоку, к отцу Никодиму, может, и к Бабе-Шмабе. Карнавал нищих, убогих, ласковых и вороватых, – отталкивал, но и тянул к себе. Дух этого русского карнавала был высок и тягуч, трескуч и зол, но по краям звенел сахарными заливистыми колокольцами. Босняк даже стал острее слышать: дальнее, чужое, невозможное...

Надо было возвращаться.

– Мь#ясо в цене? – поманил он к себе шагавшего с винтовкой наперевес охранника, и медленно выдвигая из рукава смертоносную калёную спицу, без всякого акцента, сам же себе по-русски ответил:

– Мясо – прощай! Carne vale...

## Ехал на «Птичку» Иван Раскоряк...

### 1

На горбу мешок с кормом. В руках птичья порожняя клетка. С головы съезжает “пыжик” с надорванным ухом.

Ваня встал до звезды, вышел затемно, к первому автобусу. И то: добираться ему на Новую Птичку – на Новый Птичий рынок – чуть не три часа. Снегу почти нет, скоро весна, но по утрам холодно, и одет Ваня во всё теплое: длинная куртка с подстежкой, ватные штаны, сапоги армейские.

Идти к автобусу далеко, неудобно. Раньше б оно – все ноги переломал, а теперь легче: здоровенная круглоколёсная реклама днем и ночью сыплет искрами, булькает красно-синим газком, автомобильное колесо без конца вертит.

Клетку волоочь на Птичий неудобно, а ничего не поделаешь. Здесь в Перловке за неё гроша ломаного не дадут, а там, глядишь – полторы сотни отвалят.

Денег у Вани нет совсем. Дома пять сотенных бумажек, на черный день. В кармане – десятка с мелочью: на обратный путь. Туда-то на Птичку, “за так” ехать придется.

Но только отъехали – контролеры, мать их. «Гражданин, ваш билет... Как не стыдно государство обманывать. Ещё выражается...»

Тут ещё и водитель добавил: “Он не брал, не брал, так прошмыгнул!”

Ссадили. Ваня потоптался на месте: клетка на дороге, мешок в руке. Автобус – пригородная трёхсотка – не спеша укатил. Женщина-контролер, румяная до красноты, сквозь заднее стекло всё глядела на Ваню. Улыбалась чему-то.

Невдалеке за навороченной эстакадой – Москва. Вроде рядом, а пешадралом – полчаса.

Ваня закинул мешок за спину, подхватил клетку, выбрался на Окружную, стал голосовать.

### 2

На Птичке, по четвергам, не так чтоб людно. Основной народ к выходным подвалит. На саму Птичку Иван не пошел. Встал метрах в тридцати от входа. Корм для рыбок продавал долго, почти до обеда. А клетка непроданной оставалась. Да и кроме клетки было ещё кое-что: то, за чем ехал.

Ехал же Ваня на Птичку для смутного дела. Грызло оно его и терзало: хоть таблетки пей! Но таблетки Ваня пить не стал. Сюда, на Птичку выбрался. Он и раньше кое-что продавал близ Птички. Но не часто. Дух на Новой Птичке – не тот. Не запах, не воздух – именно дух! Старую Птичку Иван любил. А вот к Новой никак приспособить себя не мог...

Клетку никто не брал – старая, грязноватая, хоть и мыл, и чистил.

«Так и вечер скоро...»

Ваня в сердцах несколько раз раскрыл и закрыл дверцу, клетка звякнула, маленькая щеколда на дверце обломилась, он кое-как щеколду прикрутил, смачно плюнул, двинул, на саму Птичку, на рынок.

3

Ох и бедлам на Новой Птичке! Люди-звери и звери-ангелы. Простаки, мудрецы, хитрованы. И, главное, чуть не намертво приросли все друг к другу!

Но... Разные звери – разные люди! И характер у человека – как у его зверя. А иногда – звери и птицы на людей, как две капли воды, походить начинают.

Грызунов продают – жадные, запасливые.

Птиц – растеряшки мечтательные.

Гадов и крокодилов – люди древние, люди далеко и крупно видящие.

Домашней птицей – жестокие торгуют. Животных – это Ваня знает точно – убивать на рынке запрещено. А эти, для клиентов – нате вам, пожалуйста – курам головы наотмашь рубят!

Ещё – голубятники. Те все почти урки. Голубей тихо и гадко придавливают, чтоб, значит, в неволе яиц не клали.

Но сцепляет всех тех человек, отбирает по норову и по людской масти – расположение рыночных рядов.

Самый ближний к Ване ряд – кошачий.

Глаза у кошечек веселые, добрые. Мордочки счастливые. Только с чего бы это? Ваня знает с чего. Поэтому – скоренько дальше.

Дальше – гады. Их правда, и называть так не хочется. А как? Ваня роется в памяти. Точно, рептилии! Черепахи с гнилыми легкими, ужи-змеи – клубками, игуаны крокодилостые, всё иное прочее: серое, мерцающее, болезненное, здоровое – перемешано, перекручено...

За черепашьям рядом – собаки. Тут намётанному глазу всё становится ясно окончательно. Есть, конечно, меж собак и здоровые, есть и бодрые. Но... переросточки они все! Месяца им по три по четыре. А для продажи надо куда как меньше: полтора, от силы два месяца. Некоторые щенки – для веселости и форсу – наркотой напичканы. Это Ваня по блеску глаз сразу определяет. У него ведь только по недоразумению – диплом техника. Надо было в зоотехники, в звероводы идти! А так – ни техник, ни зоотехник, вообще никто.

Ваня обмахивает с лица грустняк, медленно движется по направлению к любимому ряду, к птицам.

Тут как на зло – ушлаган знакомый. Торк Ваню в бок:

– Про должок, Ванятка, забыл?

Долг не ахти какой, 120 рублей. Но ушлагану не долг важен – Ваню поприжать требуется. Поэтому без слов, половину приторгованного, ушлагану в карман: отстань, на фиг!

Вдали Елима Петрович показался. С Ваней у него давние счеты. Не пускал Елима его ещё на Старую Птичку, гнал оттудова и страшал, пригородной шелупонью обзывал. А за что – так до сих пор Ваня и не понял.

Завидев Елиму Петровича, Ваня присел на корточки, и ну первую попавшуюся собаку по уху щелкать!

Елима Петрович – розово-лысый, вширь раздавшийся – хоть и хозяин почти половине рынка, а каждую мелочь до крохи помнит. Ходит, смотрит, закорючки в блокноте рисует.

Долго в собачьем ряду Ваня выдержать не мог. Приподнялся, увидел: Елима Петрович всё вокруг осмотрел, назад возвращается. Тут Ваня в ряд птиц и вступил.

И сразу еще одна напасть: «сестра-хозяйка», Пашка.

Познакомились чудно. Курили как-то близ рынка. Ваня матом выражался, Пашку за газировкой гонял. А потом Пашка-пацан шапочку лыжную скинул – оказалась девка. Лет двадцать, не больше. Младше Вани лет на восемь.

Душевно они тогда покалякали, а потом Пашка волосы опять прибрала: не хочет девкой быть на рынке, боится. А с Ваней обещала встретиться когда угодно и где угодно.

Только давно это было. Ваня тогда смерть жены переживал, настоящего внимания, на Пашку не обратил. Зато сейчас она в него, как рак тот клешней вцепилась.

– Всё, всё, отстань! Потом подходи, после!

Никак не займется Ваня птицами. А надо. Душа горит!

Давно он задумал одну штуку отчебучить: повыпускать всех рыночных птиц, к ядрене фене! Да не так выпустить, как продавцы предлагают: “Загадай желание, давай полтинник, отпусти голубя.” А тот голубь два-три круга над рядами сделает и к хозяину вернётся. Не так. Пусть все летят! Зима кончается, авось не померзнут. Всё лучше, чем в клетках себе шеи сворачивать!

Только как же им из рыночного ангара вылететь?

Но и это обдумал Ваня. В крыше широкое отверстие есть! Да и двери, если их все отворить, птицы найти смогут:

Летела гагара  
По краю ангара...

Раньше Ваня “не доезжал”: куда это непроданные птицы с рынка деваются? Потом понял – куда. Потому-то и хочется Ване всех их – на волю! Пусть летают. Смерти случайной не боятся, жизни постылой не стыдятся...

– Мэтинг, мэтинг, – шепчет кто-то Ване в самое ухо.

– Чего?

– Эх ты, дярёвня! Мэтинг – совокupление животных. Покруче нашего они совокupляются. Ну, берёшь? Давай, чудрила, пару дисков даром отдам!

Но тут рассмотрелся продавец, прикинул собеседника на вес и на деньги, видит – пустой Ваня, и сразу его как ветром сдуло.

За “дырёвню” Ване обидно. Как никак – под Москвой живет. Но и чувствует: правда! Хуже деревни – пригород. И он, Иван, самый что ни на есть негодящий: пригородный. Москвой придавленный, грязью заляпанный, магазинами обделенный, товаром обнесенный. Словом, ни Богу свечка – ни черту кочерга. И все пригородные такие же. Вся жизнь – на ногах, в дороге. Одну дорогу и видят, а жизни настоящей – так той даже не нюхали.

Тут, вместе с обидой на пригород, Ваня вспомнил отца. Заругался на него мысленно. «Зачем в Перловке осел? Зачем до Москвы не дотянул?»

Но отца-батяню Ваня любил. Долго на него сердиться не мог. Отец у Вани был подполковник, танкист. Прожил 76 годков. Умер – счастливый. А жил тяжело. До пенсии – так и вообще гадко. И всё из-за собственного имени. Звали отца – Лазарь. Лазарь Калинович. Те, кто зла отцу не желал – звали Калина-малина. Ну а за Лазаря досталось ему крепко. И в армии, и на гражданке.

– Что за имя такое для русского человека?

Спрашивали и били. Жалели, поили водкой и били опять. Потом снова спрашивали с пристрастием.

Однако умер отец – небитым, умер довольным. Как с Северов в Перловку переехали, стал Лазарь Калинович выдавать себя за еврея, влезал в мелкие торговые дела, научился картавить и деньги были. Но Ване отец ничего не оставил: всё в последний год жизни спустил на крашеную челночницу.

С отца Ваня перескочил на покойницу-жену, которая померла ни с того, ни с сего, а потом на мать, которую почти не помнил.

Срочную Ваня служил на Балтике, в Калининграде. Вспомнил и про флот. И только тут заметил: держит он в руках чью-то чужую клетку, а свою на землю поставил.

– ... я ж говорю – свеженькая пташка, только вчера привезли. Бери!

Ваня вздохнул, чужую клетку к туловищу прижал, полез рукой внутрь, ощупал черного нахохлившегося дрозда, огляделся.

Прошёл мимо ветеринар в куцем белом халатике. Где-то вдаль мерцнул глазками розовый, ветчиннорылый и ветчиннорубленный Елима Петрович. К уху Елимы прилип казенный человек с коричневыми щеками, в синей прокурорской форме. Пряталась за широкие спины, боясь подойти ближе, белобрысая – сегодня без всякой лыжной шапочки – Пашка.

Ваня разжал ладонь, чуть подкинул и выпустил дрозда.

#### 4

Одно время Пашка даже хотела поселиться и жить близ Новой Птички. Но это только сперва. Быстро перехотела. Тогда она через день – кроме понедельника – стала сюда ездить.

Пашка жила в Москве, в Отрадном, но работала в области. Медсестрой, и тоже через день. В Москве работы для нее не находилось. В области платили мало, зато и отстёжек не требовали. А на Новую Птичку Пашка ездила, думая сперва приработать на котятках. Потом – из жалости. Потом – по привычке. А уж после – чтобы встретить Ивана. Она бы прямо тут стеречь Ваню осталась. Нормальный мужик того стоит. Да страшно. Не за себя, а вообще.

Ну а страшно потому, что попала Пашка однажды в близлежащий лесок. Теперь мимо этого леска проходила она, втянув голову в плечи и закрыв глаза. Но и с закрытыми глазами видела то же, что и в первый раз: трупки птиц, лапы, мордочки и хвосты мертвых зверьков. Слышала писк живых еще...

После этого Пашка стала звать Новый Птичий – Невольничьим рынком.

#### 5

Елима Петрович вышел из подсобки и обтер руки о кожаный новенький фартук. Он любил сделать что-нибудь собственными руками. Хоть нужды давно и не было: был наверху, наличку считал стопками, мог бы и отдохнуть. Но Елима был мудрец, знал: одна работа делает свободным. И вообще: труд сделал из обезьян человек. А на Птичке, случалось, он сам, из этих человек обезьян делал. Словом, Елима пыхтел, сопел, рук ни на миг не покладал.

После обеда народу стало больше. Цепко оглянув ряды, Елима Петрович сразу заметил непорядок. Верней, непорядок этот ещё только готовился, но он даже и подготовку заметил: обернулся, махнул кому-то рукой.

#### 6

Казенный человек с бурым, морщенным, как сухая фрукта, лицом – еще недавно был пристав. Теперь – бывший пристав. Этого слова “бывший” – он не выносил. Правда и поперли его из приставов совсем недавно, так что вполне мог сойти за пристава настоящего.

Бывший пристав Трофимьев вмиг оказался близ Елимы Петровича.

– Ты зачем в форму вырядился? – зашипел на пристава розовый Елима. – Хочешь чтобы тобой занялись как следует? А потом и всеми нами? Ты – бывший. Бывшим быть и обязан!

– Не хочу ... Не буду бывшим! – плаксиво заговорил Трофимьев.

– Сгинь отсэда, – вдруг смягчился Елима Петрович, – сгинь, иди в подсобку. Счас для дела потребуешься.

## 7

Не давая продавцу опомниться, Ваня отворил вторую клетку, за ней третью, сбил заднюю перегородку со стеклянной попугайской витрины, выпустил с десятков волнистых, перескочил через какие-то коробки, обрушил ногой поставленные этажеркой ящики, ухватился за купол громадной совиной клетки, отворил её...

Шум и гвалт плотной волной потекли по рынку.

Одна птица – видно полумертвая – тут же брякнулась оземь. Еще две – полетели низко и кривенько, но вместе, парой. Еще несколько взметнулись вверх. Крикнул резко и зло выпущенный на волю скворец. С перепугу начал петь, а потом вдруг замолк черный дрозд.

К Ване бежали охранники. Хватал за грудки продавец. Ваня огрел продавца своей собственной, так и не проданной клеткой, клетка обломилась в сторону, в руках осталась только дверца. Дверцу Иван сунул за пазуху.

Он думал – его изувечат, убьют, пятое, десятое... Ошибся.

Не одна лишь волна злобы окатила Новую Птичку!

Кой-кому Ванина забава страшно понравилась. Сразу несколько покупателей – один даже очень приличный, в мехах, в перстнях, – потянули руки к клеткам. Выпустили, смеясь, ещё нескольких птах.

И завернулся винтом под куполом рынка небольшой, но крикливый вихрь, видно снарядившийся в птичий вырей! Словно собравшись за море, кружили и кричали птицы, ища выхода из ангара.

Этот ошеломляющий звук, звук полученной «за так» свободы, сделал Ваню на миг пустым, бескостным. Птичий звук был лучше жизни, был приятней и справедливей её. От радости и от счастья Ваня закрыл глаза.

Тут его сзади чем-то тупым и огрели.

## 8

Из-за раздухарившихся молодчиков, выпускавших почем зря чужих птиц, Пашка никак не могла добиться до Ивана. Она толкалась и щипалась, но продавцы и покупатели радовались и злобствовались, реготали и рвали на себе волосы, показывали вверх и друг на друга, трясли животами, стояли плотной стеной.

Ваню потащили – за этим Пашка следила безотрывно – в подсобное помещение. Но в какую именно дверь затолкали – этого заметить уже не могла. Чуть не ползком, ударяясь о задницы и колени продавцов-покупателей, пробралась она к северному входу, стала дергать запертые двери. Заглядывала и в двери открытые.

Ивана нигде не было.

## 9

Очнулся Ваня от воздуха. Воздух бил в нос, холодил виски. Зимне-весенний день уже сильно клонился к вечеру.

– ... скажи за это спасибо Елиме, – услышал он над собой зычный командирский голос, и тут же попытался встать.

Однако держали Ваню крепко. Да и руки его оказались связанными.

Какой-то бетонный закуток. Задний двор, что ли? Людей – нет, кошечек-собак тоже не видать. Но небо московское – дымится, огни вечерние московские вдали посвечивают!

Казенный человек бурой мордой своей лез прямо на Ваню.

– Т-т... товарищ прокурор, – решил схитрить Ваня, – я это самое... Я ж не нарочно...

– Какой я тебе, к чертям, прокурор. Пристав я! Не знаешь формы, дурак?

– Ладно,пусти его. Слушай сюда внимательно, – охранник с нашивками на рукавах и на груди, повертел головой, как будто ему мешал дышать туго застёгнутый ворот. – Ты тут пташек – на пять штук баксов повыпускал. А ещё штраф с тебя. За дебош. Счас хозяин придет, он точно урон определит.

## 10

Елима Петрович только для порядку заглянувший в каменный мешок, брезгливо поморщился, сказал: “Чтоб я этого обалдуя больше здесь не видел”, – повернулся, но, уходя, призадумался.

Ставить Ваню на “счётчик” он не желал. Не потому что жалел Ваню. Знал: бесполезно. А бесполезных вещей Елима Петрович давно уже не делал. Ну, а раз бесполезно – так и надо подобрей к человеку. Тем более после сытного обеда гневаться грех.

– Ты, конечно, сильно мне тут напортил. Но зла я на тебя, Иван, не держу. Может, так оно и надо, птичек иногда выпускать. Даже праздник такой есть – Благовещение. Для выпуска птиц предназначенный. К этому празднику птичек на Руси раньше и выпускали. И сейчас такое, может, случается. Но ты, Ваня, поперёд праздника забежал. Нету его пока, праздника, нету! А вот на рынке ты мне порядок, ух, как испортил. А порядок – он всегда и во всём быть должен. Поэтому ты вот что... Убытку от тебя, конечно, много...

Елима Петрович на миг запнулся.

– На “счётчик” его! – захрипел охранник, обрывая пуговицу с ворота.

– Ты охолонь, Василий, – от собственной ласки Елима Петрович даже вздрогнул. – Охолонь, расслабься. А я пока подумую.

Елима стал думать. Кожаный фартук на его животе из морщинистого стал гладким.

– В общем, сделаете так: праздник, он всё равно когда-нибудь да будет. Так что, выведите его отсюда – и под зад коленкой. Ну, в общем, с миром отпустите. Если, конечно, у вас у самих к нему вопросов нет. И чтоб духу его здесь больше не было! Вот тебе Трофимьев ключи от машины.

Елима Петрович не спеша возвратился в ряды.

– Как не так, – бурчал, выводя Ваню из каменного мешка за ворота, бывший пристав. – “Отпустите с миром!”. И рынку от него убытку на пять штук баксов, и государство в прогаре: теперь этих птиц полумёртвых собирай, живых – лови. За уборку территории, опять же, таджикам плати. Давай его в машину, поехали!

## 11

Тут, на вечеряющей дороге, близ розово-клубничной Елиминой машины, Пашка их и обнаружила.

Она кинулась сперва на охранника, потом на бывшего пристава, стала кричать, кусаться. Пашку запихнули в машину, усадили Ване на колени. Там она на время успокоилась.

Шумела дорога, молчал вдалеке лес. Рядом летали вечерние птицы: то ли упорхнувшие с рынка, то ли вольные – было не понять. Потом птицы устали, сели на деревья, сняли и

повесили – так Пашке показалось – на ветки крылья. И от этого уподобились людям: стали бесшумными, слабо видимыми...

## 12

Казенный человек сперва ничего дурного с Ваней творить не собирался. Но в машине, уже порядочно отъехав от рынка, он вдруг разнервничался, стал сам себя накручивать. Ваня показался ему преступником закоренелым и преступно безнаказным. Вина Ванина в глазах Трофимьева росла и росла. А тут еще эта девка. За палец укусила, шалава!

Думая первоначально Ваню и Пашку лишь слегка попугать, бывший пристав вдруг всё на ходу перерешил.

– А ну, останови! – крикнул он водителю.

Не говоря больше ни слова, пристав схватил Пашку за плечи и вытолкал из машины на дорогу.

– Поворачивай назад! – Трофимьев ткнул водителя кулаком в спину.

Ваня шевельнул связанными руками, а помочь Пашке ничем не смог.

Сдали километра полтора назад. Ваня снова возвращался на Птичку. До Птички, однако, не доехали, остановились напротив леска.

– Выходи. – Сказал Трофимьев торжественно. – Выходи, бандюган пригородный.

Ваня понял: будут бить. И сам первый, как только вышел из машины, ударил бывшего пристава ногой. Тот упал, поднялся, крикнул протяжно, как сын:

– Ну, га-а-ад, я тебя урою!

## 13

Вечер лег гуще, плотней.

Выкинутая из машины Пашка, резво бежала по улице Верхние Поля. Мысли ее тоже бежали вприпрыжку. Она вспоминала то свою медицинскую службу, то Ивана... Но больше всего ей вспоминался писк из коробок, копошившийся в ушах ещё со времени первого посещения леска.

Лесок этот, не большой – не маленький, раскинулся сразу за Окружной дорогой. Несколько месяцев назад, в ноябре, Пашка в него и завернула. Просто так, сдуру. Издалека лес показался ей приветливым, безопасным. Но как зашла – так сразу и присела. Потому что наткнулась на коробку. А в коробке – котята. Мертвые, от приморозков давно окоченели. И ладно бы какие-нибудь посторонние котята! Так нет, те самые, дымно-рыженькие, которых при ней отдала перекупке несколько дней назад незнакомая бабулька. Перекупка клялась и божилась, что пристроит дымно-рыженьких к замечательным и богатым людям. Успокоенная бабулька, отдав котят, ушла.

“Вона куда их!”

От внезапной боли в кишечнике, Пашка не сразу смогла разогнуться. Наконец, распрямилась, огляделась.

Людей в том ноябрьском лесу и вправду не было. Все были заняты: на Птичке разгар торговли. Обмирая от страха и от любопытства, Пашка углубилась в лес. И чем дальше шла – тем становилось страшней. Под деревьями мертвые птицы, в коробках – штабелями – бездвижные черепахи. Котят мерзлых – немеряно. А собаки... Те вообще на части порублены.

Пашка хотела повернуть назад, однако ноги сами несли ее дальше. Страшный лес ещё не умер! Он хрипел, стонал, подмикивал, пытался выжить.

Тогда, в ноябре, Пашка, споткнувшись о что-то мягкое, упала.

Упала она и сейчас, догоняя Ваню и тех троих, что, судя по брошенной машине, как раз в этот лесок и завернули. Дыхание у Пашки сбилось, пришлось остановиться: отдышаться, очистить веточкой ботинки от грязи, высморкаться.

## 14

Ваня шел по лесу с тремя утомительными придурками, но думал не про них, про птиц: “Вот летают себе, и горя нашего им нет. Бьют их из ружей влёт и в силки заманивают... Но под ярмом нашим они не ходят!”

Иногда перескакивал мыслью и на людей. “Ну излупят, – думал, – ну обомнут бока. Впервой ли? А птиц таки повыпускал!”

Потом начинал думать и вовсе про постороннее, начинал – как это часто с ним в последние месяцы бывало – вести внутри себя разговоры с высокими лицами.

“Эх, Ладим Ладимирович, – говорил про себя Ваня, – Ладим Ладимирович, эх-х-х! И Вы, Митрий Анатольич, тож! Как же это так случилось? Я чего-то никак не пойму. Всё вроде у нас путем, а человеку хорошему – ни жизни, ни воли. Козлам да баранам – тем раздолье. А кто честный – тому осиновый кол меж лопаток! И деньгой-то ему в харю тычут, и всем иным попрекают. Нет, не подняться честному! А подымится – так бумажками закидают. И стоит он, дрожа, в бумажках шелестящих, как в воде: по самое горло. Вот вы по ящику правильно всё говорите. А выключил ящик – и всё, и другая жизнь. Особенно в пригороде. Землю всю подчистую забрали, продают её и перепродают, чего-то ненужное строят. А людям от тех построек – что за прок? Как были все соседи в Перловке нищие, так ими и остались. Мож оно и не так плохо нищим быть. Иногда даже радостно. С этим не спорю. Но навсегда нищим оставаться – как-то оно утомительно, а? Может, не надо так?”

– Надо, Ваня. Ну, просто необходимо. – Строго так и степенно отвечают внутри у него по очереди Ладим Ладимирович и Митрий Анатольич. – Ты погоди маненько! Вам же, дуракам перловским, от этой временной нищеты когда-нибудь лучшей станет. Неравенство – оно кого хошь выучит. А касательно пригородного населения – мы с кем надо строгий разговор иметь будем. В этом, Ваня, не сомневайся!

– Нет, я чё-то... Ну, словно бы – сомневаюсь! Если, конечно, сверху глядеть – вроде у нас порядок. А подойдёшь поближе... Всё у нас хорошо – только жизнь плохая!

Но раз надо терпеть, раз указано пригородным без земли собственной оставаться, указано на город до скончания века батрачить – что ж: потерпим, сполним!”

После таких бесед с высокими лицами, Ване всегда хотелось петь: от радости выполненного долга, от удовольствия круглых речей.

Он и сейчас пошевелил связанными руками (потому как петь и не размахивать руками не мог) и запел вполголоса:

Ехал на «Птичку» Иван Раскоряк,  
Ехал, споткнулся, и в грязь мордой – бряк...

– А раз ехал, так и приехал! – крикнул по-звериному глухо бывший пристав. – Говорю, приехал, ты, Ваня!

## 15

Пашка всё никак не могла двинуться с места.

Вроде только полтора-два кэмэ пробежала, а не было сил. Да и что-то держало, не давало идти. Отдышавшись и отплевавшись, она осмотрелась и увидела на дереве облезлого серого кота.

Тощий кот глядел на Пашку и топорщил шерсть.

“Вона кто не пускал!”

– Котя, котя, пусти! Мне надо. Ваню бить будут...

Кот еще больше встопорщил шерсть, но потом, вроде соглашаясь, мяукнул, сдал назад – так Пашке во всяком разе показалось – и она вступила в самую гущу кое-где ещё снежно белевшего леса.

Пашка шла наобум, по косо́й, едва приметной дорожке. Шла не оглядываясь, иногда на ходу приседая от шорохов, от вымахивавших на её пути длинными кривыми ветвями, страхов.

## 16

Серый облезлый кот, чуть обождав, соскочил с дерева, но тут же, словно что-то учуяв, застыл на месте. Потом, постояв и видно устав прятаться от собак и людей, пошел вслед за Пашкой. Шерсть его кое-где ещё топорщилась, но хвост по земле больше не волочился: торчал трубой.

## 17

Бывший пристав уже хотел было Ваню в лесу – «на произвол судеб» – покинуть. Но опять вспомнил про государство, про то, какой дерзкий ущерб причинил ему Ваня, и понял: никто этого обалдуя по-настоящему не накажет! Раз уж Елима не стал – другие и подавно не захотят.

А тут еще Ваня сглупил: стал развязывать – и развязал-таки – руки. Бывший пристав Трофимьев увидел, крикнул: “Вишь, развязался!” – и второй раз за день въехал Ване в ухо.

Били недолго, потому что охранник случайно задел уже лежащего на земле Ваню тяжёлым ботинком по голове, и тот отключился. Для верности дали ещё камнем по затылку.

В лесу становилось холодно, дальше бить потерявшего сознание было неинтересно. А наказать надо было по всей строгости.

Вдруг Трофимьев обрадовался:

– А ну волоки его. Тут рядом! Давай, шевелись!

На границе кошачье-собачьего кладбища и молодой, примыкавшей к старому лесу рощицы – было вырыто несколько непонятных ям: то ли для зверья покрупней, то ли и вовсе для живших, кормившихся и умиравших близ Новой Птички бродячих людей. Вскоре такая яма невдалеке и обозначилась.

– Давай его сюда. А то Елиме наkostenяют. А Ваня... Он же перловский, здесь его искать никто не станет.

Бывший пристав вытряхнул из Ваниных карманов несколько бумажек и какую-то зеленую корочку.

– Ф-фу, блин! Иван Ла-азаревич... – Прочитал он и скривился. Но Ванину корочку себе в карман всё ж таки сунул.

Ваню подволокли к яме. Перевернули вверх лицом. Пристав закашлялся, кинул лежащему на грудь дверцу от птичьей клетки, выпавшую у того из-за пазухи. Спустили вниз, прикидали мёрзлой землей, ещё и наверху сверху всякой дряни: коробок со сгнившим кормом, кошачьих ленточек, досок от ящиков, собачьего смёрзшегося дерьма...

## 18

Пашка заблудилась. Попала не туда, где обретались те трое и Ваня. За спиной кто-то мяукал. Пашка поворотила назад. Минут через десять, сквозь деревья, она увидела пристава, охранника и водителя. Они садились в розовую, спело-клубничную, на миг засветившую себя изнутри – как работающее сердце – машину.

Вани с ними не было.

Пашка остановилась, прислушалась. Картонные коробки теперь помалкивали, не слышно было ни собачьего повизгиванья, ни птичьих криков.

“Где ж Ваня?” – Она снова развернулась спиной к дороге, лицом – ко всё ещё пугающему мертвым зверем, лесу.

## 19

Очнулся Ваня уже в могиле. Земля забила ноздри. В рот лезли смятые ленты. Дыханье стало не то что спертым – стало кончаться совсем.

Ваня знал: он уходит в землю плотней и плотней, врастает в неё глубже и глубже. Ужас сменился радостью, радость – снова ужасом: что там в глубине? Что-о-о?

Вдруг пробежал сквозь него розовый Елима Петрович. Потрогал Ваню за нос, удалился. У Елимы во всю щеку – свежая золотуха; через рот, до затылка, сквозная рана: дымит, чернеет...

Проскочил завхоз перловского Дома творчества художников, не позволивший когда-то Ване – “не член Союза!” – камни резать. Завхоз тяжело наступил ногой на грудь.

Цапнул за шею неизвестный, но страшно когтистый и немаленький – размером с хорошую собаку – Могильный Зверь.

С болью притронулась к виску Пашка.

От всех этих прикосновений Ваня совсем перестал дышать. Но и глубже в землю перестал опускаться. Зная: дыханья взять больше неоткуда, крупно дрогнул всем телом... Двинул рукой, потом ногой, и вдруг со скрежещей радостью ощутил: земля крохкая, поддаётся, можно, нужно наверх!

Левая рука ощупала дверцу птичьей клетки. С громадной тяжестью, подведя руку к лицу, Ваня стал этой дверцей отгребать от носа всякую дрянь. Даже загордился: без дыхания, а живёт! Но это была другая жизнь: отвратительная, ужасная, с ходящей ходуном, требующей воздуху грудной клеткой, с ледяными осколками глаз, со слепым и корявым узнаванием предметов, каких на земле отродясь не бывало.

Тут мысли в голове сдавились сильней, как-то вкривь и вкось подумалось: “Для тебя, Ваня, сейчас Бог – сыра земля! Чё ж из неё выходить? Ещё чуть – станешь крепким, как корень, неразрубаемым, как дуб!”

– Ну нет. – Рыкнул Ваня себе же в ответ. – Бог – Он один! Что в сырой земле, что на небе. А ежели всякие людишки и звери тут сквозь меня шлѣндают – так это, может, и не от Бога...

Мозг, ещё недавно пылавший красным расколотым фонарём – “это он от натѣкшей крови красный!” – подѣрнулся золой, гас угольками. Вместо дыханья обычного, пришѣл каменный, ломающий грудную клетку дых. Холод неслышанный, холод могильный, сдавил сердце тяжкими льдинами.

Но, однако ж, – руки двигались, шея покручивалась!

Вдруг разбитый ящик, державший на себе целый пласт мерзлой земли, съехал в сторону. Правой ноздрей, в которую земля набилась не так туго, Ваня хватанул капельку (ласкового, надмогильного, тепловато-гнилого, почти весеннего) воздуха.

## 20

Бывший судебный пристав, подхватил с заднего сиденья бутылку портвейна, широко расставляя слова, сказал:

– За упоко души... раба Божьего... Ивана.

– Слышь, приставной! Давай вернемся, отроем. За что его так? За пять штук баксов? Так у него четверть дома и сараюха в Перловке. Заставим продать – штук на пятнадцать потянет!

– Я те вернусь. Ишь, заступничек выискался. Как я есть человек государственный...

– Приставка ты к человеку. Бывший ты – государственный!

– А это... ничего не бывший! Я тебе вот что скажу: надо нам от всякой шелупони освобождаться. Ну, секёшь? Не тянет она, шелупонь, в нынешних условиях. Ни капиталу, ни ума у неё, ни прочей собственности. Одна гниль да прель по сараям. Так чего им тогда в этом мире и мучиться?

## 21

Жизнь в могиле была короткой. Но это была именно могильная жизнь. Ваня не мог бы точно сказать – хорошей она была или дурной. Ясно одно: была она бесконечно одинокой, тесной, тускло холодной. И цвет этой жизни был нелюбимый – тёмно-коричневый.

Что смерть, хотя и холодная, а живая, часто живей самой жизни – Ваня в своём пригороде догадывался давно. Теперь – подтвердилось.

В ухо вполз червь. “Может, с рынка, непроданный? А сюда переполз только”. Ваня червя стерпел. Не до него было.

К губе прилип слизень. Потом, невдалеке, кто-то грубо и навзрыд рассмеялся. Снова всё стихло.

Наконец, всё тот же гробовой насмешливый голос, явно перед кем-то выпендриваясь, гнусно прошелестел:

– Глубже, глубже его! Рот и кишки плотней землёй набейте! Дерьмо собачье в ноздри втолкните. Штумп, штумт! Дух скота – он, как сказано, в землю уходит. Штумп, штумт! Ты, Ваня, – быдло, скот! И жить тебе, кстати, осталось – одну минуту. А после – сразу неизъяснимым станешь.

– Это как это – неизъяснимым?

– А так. Ничего, никогда и никому изъяснить больше не сможешь!

Иван с остервенением стал выкапываться дальше. Оборвал с губы слизня, шуганул Могильного Зверя...

Неразрушимая сила вдруг вошла в него: копай, Ваня, копай!

## 22

Выкопался он быстро, выкопался вовремя. Встал, встряхнулся, повёл одним плечом, другим. Шапки на голове не было. С правого плеча свисал драный кошачий хвост. Под ногами валялись мертвые птицы. Из ботинка торчала головка замерзшей ящерицы. На губах, на щеках – земля.

Страшная, земляная, никогда раньше не существовавшая в нём сила, вмёрзшая пузырьками воздуха в кость – продолжала распиравать Ваню.

Он ступил к дороге. Однако быстро сообразил: на Птичку – поздно. Да и не для гнилой Птички сила в могиле скоплена!

Тогда он двинул домой, в Перловку. Сперва решил – через Москву, через центр, во всей красе! Но потом передумал. Миновав лес, вышел к Окружной дороге.

Тут его что-то остановило: сзади послышалось кошачье мяуканье, женские мелкие всхлипы. Ваня нехотя обернулся.

Он увидел Пашку, облезлого серого кота, а над ними – дымно огненное подмосковно-московское небо.

Стояла уже настоящая ночь. Машин поубавилось. Сзади причитала убегавшаяся за день Пашка. Ваня шел, и сил у него прибавлялось и прибавлялось.

«Раз из могилы выкопался, стало быть, и жизнь земную осилю!»

Ехал на «Птичку» Иван Раскоряк.  
Был Раскоряк – стал матрос Железняк!»

## 23

И вышел на небо Великий Жнец.

Чуть помедлив, взмахнул золотым серпом, стал косить невидимые, но давно приуроченные к такой жатве рати. Серп заблестал над нищими пригородами и над богатой Москвой. И брызнула из-под серпа кровь: быстро текущая, остро-пахнущая. Встрепенулись черви в могилах и гады в кроватях: но крови своей, из них навсегда убегающей – не почувляли...

И хотя напугал Жнец своим серпом немногих, зато многих – тайно коснулся!

Тут же, под серпом у Жнеца, близ дороги, там, где кончалась улица Верхние Поля, ожила и шевельнулась, серая, громадная, размерами сто метров на двести – так Ване показалось – птица. Не та, что составившись из малых пичуг, кружила под сводами рынка и не та, что сидела в запертой клетке. Другая!

Тихая, огромная, с чуть серебримым пером, от прикосновений взгляда легко ускользающая, – она, сквозь ночь, мечтала о чём-то своём. И человекам про те мечтания ничего не сообщала.

Ваня развернулся и, оставляя позади собственную могилу и громадную птицу, оставляя Верхние Поля и Нижние, отодвигая журчащее небо, мелкую речную трепотню и крупную лесную дрожь, расшвыривая в стороны скопища людских душ и комки птичьих шевелений – пошел, наливаясь неизъяснимой силой, домой, в Перловку.

## 24

Сзади вышагивала – готовая переть хоть до Холмогор, хоть до Северного полюса, а надо – так и до островерхого города Калининграда – белобрысая Пашка.

Вслед за Пашкой, воздев хвост трубой, шествовал серый облезлый кот. За ним подскакивала и вновь опускалась на землю – огромная, неуклюжая, едва различимая во тьме птица: может, ушастая сова, может, зря потревоженный филин.

## Босиком

### 1

Чудны́ дела Твои, Господи...

### 2

Лавра. Нигде русского человека так крепко, но и ласково так не ухватишь, нигде лучше не углядишь греха его или праведности, чем в Сергиевом, у Троицы.

Около Лавры – базар. Продают картинки священные, матрешек с яйцами, горбачевых-путиных. Но все ж не столько всей этой ласково стучающей дребеденью торгуют, – сколько страсти и помыслы свои напоказ выставляют: обмирая, хмелея, млея...

Рослый, малоголовый – подбородок врезан чуть не в самый лоб, – худой, весь какой-то перекрученный, но и крепкий, как резина, парень. Стоит. Простоволосый, с голой шеей, в армейском ватнике, в штанах клетчатых и босой. Ничего не продает, но встроился и упорно держится в торговой линии, рядом с продающими. Стоит, смотрит поверх товара, поверх стен, поверх золотых куполов даже. Нос его пупочкой при этом смешно, как от лука, морщится, запаленные краснотой веки напряженно подрагивают.

Весна ранняя. Иногда с неба слетает десяток-другой снежинок, и опять над головой холод ясный, чистота, лёд...

– Ботинки что ль украли? – спрашиваю тихо. – Ты вон какой здоровый вымахал, поспрошай как след, вернут, может.

– Что ботинки. Ботинки – рвань. Душу мне вернуть Создатель должен, душу...

– Так ты в Лавру иди, чего ж тут маячить. Там про душу и расскажешь...

На нас косятся. Хоть здесь рядом место и святое, – слушать про душу торгующие, кажется, любят не слишком. Или просто надоел им мужик этот: ничего не продает, никого не “пасёт”, милостыню – и ту не просит. Да ещё и босой! Может – стучит?

Зову его погреться в кафе “Отдых”, здесь же рядом, чуть ниже Лавры. Нехотя соглашается. А в кафе вынимает вдруг из глубоченного кармана просторные тапочки в целлофановом пакете. Одевает, морщится.

– Грязь... Не могу...

Разглядываюсь по сторонам и особой грязи в кафе не замечаю. Засунув ноги в легкие, красно-коричневые без задников тапки и видя мое недоумение, он начинает рассказывать.

– Друга у меня убили. В Таджикистане. Вместе служили. Не на границе, в ауле убили. Надо было его вынести оттуда, а я оставил. Себя пожалел. Думал, и меня сейчас из-за дувала хлопнут. Назад повернул. Все думают, он тогда один был. А мы, можно сказать, вместе были. Он впереди шел, а я за ним с сапогами в руках бежал. Труп его, понятное дело, пропал. Ну, потом прошло все, забылось, кончилась моя сверхсрочная, думал, домой уеду...

Какое там! Не отпустила меня азиатчина. Вдруг в Бишкеке я очутился. Ну город, ну город! Пламечком зеленым сады полыхают, дыни в пятнышках, как головы бусурманские, из калиток прямо на дорогу выкатываются, ишачки черными ушами у заборов прядут. Вода в арыках скорая, мутная. Так и кажется: это она из тебя самого да из бабы твоей страшным напором, безостановочной любовью выхлестывает. А на базаре – китайцы. Что хошь тебе поднесут. “Рупп, рупп!” – кричат. Сома этого самого киргизского не признают, рублем его называют. И за “рупп” тебе – что угодно. Хочешь – чаю, хочешь – пивка.

Так день проходит. А к вечеру жары почти нет, только горы сквозь пленку дымную освещивают.

### 3

– В горах я тоже жил. Два месяца сторожил базу горнолыжную, Летом там никого, красота! Утром, бывало, чабаны с гор спустятся, кумысу навезут, выпьешь, иголки в горло вопьются, как заново на свет народился. Оставляли меня на базе. Да и нравилось мне там шибко. Сибирь напоминало. Все другое, а вроде похоже. У нас в южной Сибири в поймах, в мочажинах дергачи да утки до надрыву кричат, и здесь тоже... У нас лес живой, и там живой. Словом, не понять, как это получается, а вроде всё свое: будто шел я и шел я на юг по тайге сибирской, да к опушке горной и вышел. Хотя там, близ Бишкека, арча кругом вместо елок, да и зайцы другие, со спинкой коричневой, и улары – дикие индюки – попадаются, и волк другой. Волк меня оттуда вниз на равнину и согнал.

Было как? Спустились с гор двое чабанов-киргизов, привезли кумысу и ну на бильярде шары гонять. Бильярд на базе отличный, для больших, ещё капээсэсных людей сработан. Вот киргизы и приспособились: чуть не каждый день играли. А меня в тот раз попросили не в службу, а в дружбу, двух кобыл да жеребеночка выпастить. Самим недосуг, значит. Ну я к этому делу привычный. А только предупредили, чтоб далеко в горы не ходил: волки. Да я и сам знаю, что волки, небось, кажен вечер вытье их слышал. Хоть и далековато от базы, а были. В тамошних местах чабанам с начала девяностых ружья иметь запретили, вот волки и обнаглели. Знают, что человек без ружья не человек, и средь бела дня лезут.

Ну, стало быть, погнал я кобыл с жеребеночком, да на ходу и задумался. Другана вспомнил, высоко в горы залез. Только вдруг кобыла одна как захрипит и на дыбки, а жеребеночек круть – и ко мне! Враз я очнулся. Ну думаю. Всё, капец! Сейчас налетит стая – поминай, как звали.

Только гляжу – один он. И не волчица (эта сразу кончит!), а вроде волк. Матерый, в подпалинах. На плечах шерсть погончиками обвисла, на загривок – словно башлык черный спустил... Скалится. Ну? Ты бы что стал делать? Убег? Так он сзади кинется. И не на жеребенка! На меня ведь он только и зырился! И как на грех, ни кнута, ни дрына в руках. Ну вспомнил я тут – пистолет газовый у меня в кармане. Внизу-то он вполне годился, а здесь, думаю, возьмет волка эта пукалка? Думать думаю, а пистолет из кармана волоку. Выволок, в морду волку уставил. Держу двумя руками, дрожу. А он весь вперед подался и снова скалится. Вроде понять дает: что мне твоя пукалка? И так он этим оскалом мне одного зверюгу, так одного военного прокурора напомнил, который так же вот скалился, да все про другана выспрашивал, что закрыл я глаза и как заору со страха:

“Не я! Не я убил!”

Ору, а перед глазами не волк, а майор этот косоротый, в расстегнутом кителе... Постоял я так с закрытыми глазами, потом открываю, – глядь, волк задком отступает. Отступает, а все одно, скалится. Словно сказать хочет: пока спускаю тебе. Иди себе, куда знаешь, а сюда, падло, не суйся...

После этого случая я вниз и спустился. Подумал: чего мне здесь со зверьем воевать? Его, зверья, и внизу хватает. Вот с этим зверьем и надо разбираться. Я б там внизу и насовсем остался, да только полчанина встретил. Он чего-то в Бишкеке сколачивал, наших парней собирал, да не на те дела, что надо, собирал. Ну, я и свалил оттуда, сил у меня тогда с ним спорить не было. Взяли меня на гражданский борт – четыре дня в аэропорту протолокся, – а взяли!

4

Он отодвинул от себя рюмку с водкой, отхлебнул только пивка из кружки, но потом и кружку в раздражении от себя отсунул.

– Что мне твой хмель! У меня другой хмель в голове!

– Да, дела!.. Ты бы священнику рассказал про все, что ли... Другим-то не надо, другие пусть не знают, а священнику...

– Э, нет, – перебивает он и кивает на белеющую в окне Лавру, – Он-то знает! Только Он и знает, что это я тогда сапоги от другана спрятал. Сиди, мол, на месте. Нечего ходить! А ему надо было! До зарезу! Он без сапог в аул и двинул. Босой. Бешеный. Я за ним... Да поздно. В горах камни мелкие, острые! Не убежишь далеко... Ну и когда шел он – матерился, наверное, беречься, как учили, не хотел... Так из-за бабы да из-за обуви и пропал. Ну так теперь я вместо него босой хожу. А эти-то, что торгуют, думают – дурачок я или юродивый. Ну, пускай думают...

– Так ты бы объяснил им.

– А зачем? Так слаще. Я его под пулю подвел, я теперь терпеть буду.

– Ну и сколько ты терпеть собираешься? Неделю, месяц? Когда-то ведь это “босохождение” закончится? Так и помереть недолго.

– А! В том-то и штука вся. Тебе, так и быть, скажу. Я ведь не только здесь босой. Я из самой Сибири босым шел и ехал. Только в уборных, да где погрязнее, у мусорников, тапочки надевал. Смеялись надо мной, конечно, в бока пихали. И здесь смеются. А мне – ещё обидней. И вот, чтобы обиду не растратить, я здесь не молюсь. Но когда наберу обиды доверху, тогда начну все эти лотки опрокидывать. Кричать буду: не прощаешь, нет? Ну так значит Сам Ты и велел мне тогда себя пожалеть! А теперь Сам велишь здесь крушить все! Ну а покрушив как следует, я назад, к таджикам подамся. И уж не босой! В сапоги, в ботиночки десантные затянусь! Я ведь там каждый камень знаю. И кому следует, за все отмеряю...

А потом снова в Бишкек. Нравится мне там! Сяду на базаре, словно бы нищий я... Сяду, и никто – как вот ты, например, – на меня не посмотрит. Сяду, сидеть буду. А сквозь меня народы косоглазые попрут, и китайцы, и пуштуны, и другие прочие. Да и наших там пруд пруди.

А пока ращу, ращу я в себе обиду! Ну? Понимаешь? Ты хоть сказки-то слышал? Илья Муромец, думаешь, просто так на печи жопу грел? Обиду он в себе копил! Чтобы разметать всех. Потому как в обиде – сила страшная. Когда ее много, конечно. Вот я и обижусь.

У нас в Сибири, в селе Мотовилихе все так делали. Село-то варначье, каторжное. Как обиду накопим, так житуха другая начинается. Отъедем куда подале, хоть к соседям, хоть в лес и ну обиду вымещать! И от этого легшает сразу, да и дурь потихоньку кончается...

Но на человека я обижаться устал. Вот и пришел сюда на Господа обидеться. Смотри мол, до чего довел Ты меня. Завод жизни кончается! Обижусь на Него, а потом прощенья просить буду.

А без обиды – силы во мне нет, одна мягкость да вонь. Знаешь что я без обиды такое? Босой нерв. Есть такой. Это мне уже тут фельдшер один сказал. Нерв хоть и в пятке, а самый главный. Не приведи Господи раздражать этот нерв! А молиться... Может потом, когда снова сюда вернусь, помолюсь немного...

– Но тогда-то уж в ботинках придешь?

– Зачем это? Ты, я вижу, ничего не понял. Обида – она ведь как боекомплект, расстрелял, и нету. Пополнять надо. Вот и приду сюда: пополнять обиду. А иначе меня в порох сотрут. А Он, Господь, стало быть – не понимает. Ведь кабы все вокруг не были звери, так и мне не надо было обиду копить, Его зря тревожить.

– Так ты сюда пришел не к Богу приближаться, а заряжаться, как ружьё?  
– Говорю ж тебе. Но в Него я верю, верю – ты не думай! Только обижен я сильно...  
Ну, прощай. Некогда мне. Пойду к Лавре, может, сегодня ещё нальюсь до краев. К вечеру папанва набезит, дразнить меня будут. Ну да теперь ничего, теперь скоро уж...

## 5

Он снял тапочки, затолкал их в целлофан, потом опустил бережно в глубокий карман ватника. Ноги его были синеватые у щиколоток, с багрово-сизыми, расплюснутыми и, казалось, совершенно бесчувственными ступнями.

– Гангрены не боишься?

– Боюсь. Только теперь уже ничего не будет, да и привыкать стал. Это ведь только попервоначально трудно... – мелкая мутноватая слеза блеснула вдруг в глазах его. Он быстро развернулся, не оглядываясь, чуть по-обезьяньи или скорей по-медвежьи загребая босыми ступнями, пошел из кафе. Я тоже выглянул, а потом вышел за ним на улицу.

Сияла Лавра. Словно чьей-то бестелесной рукой отмеренный, скупно падал крупный киношный снег. Вслед босому человеку шли с железнодорожной станции бабы в платках, мужики с рюкзаками, интеллигенты, пристегнутые намертво к черным кейсам, волжские речники, выгнанные со службы, быстроглазые, узкоплечие монахи, сонные женщины, прапора, офицеры-летчики. Люди шли так же, как падал снег: редко, отдельно, друг с другом не сливаясь. Они не были похожи на притертых один к другому, обезличенных поспешаньем и тщетой столичных жителей, а на кого были похожи – сразу и не скажешь.

На разбросанные в раздражении камни? На разномастных, отбитых от стай собственных, а к чужим стаям так и не приставших птиц? На смешанный неравноверхий лес, всё тянущийся в небо, пусть даже и не имея для этого сил: так его пообъели, пообкорнали...

## 6

В небе было морозно и было ясно.

А внизу, на выгорбленной посадской земле было ясно лишь одно: здесь кончается понимание человека “единичного”. Здесь кончается, как обрубленная железнодорожная ветка, простой и линейный путь узнавания жизни. Здесь, как трепещущий нерв, начинает звенеть и рассказывать себя – плохо выговариваемая, не всегда правильная, но все же искренне принесенная на суд к святому месту – чужая жизнь. Здесь в вечерней дымке зажигается, и невидимо сияет, слетая вниз то снежком, то светом, жестковатый, режущий язык и нёбо, ранящий нежные человечьи ступни и колени – близко-далёкий Восток.

Здесь кончается Москва и начинается Россия.

## Слух

Как приходят слова? Через слух, через слух!

Только закрыв глаза, только вслепую, на ощупь, – чувствуешь, как идет жизнь.

Она идет? Идет, еще как! Каменно идет и тяжело, а потом – легко и воздушно. Она идет, летит над Стрелецкими могилами и Тешиловской дорогой, над урочищем Белые Боги и Бесовым лугом, цепляет краями Рахмановские пустоши и Юдин прудок, оставляет позади речку Торгошу, Инобожскую дорогу, Воробьев овраг. Она идет-летит к нашему подмосковному дому, и входит в него, и проносит свое хлюпающее, заполненное сработанным воздухом и семенем женское тело над квадратиками паркета, над узким ковриком... Ближе, ближе, к столу, к постели!

Жизнь идет и несет в себе то, что скрыто от глаз, что можно только услышать.

Нужно, нужно почаще закрывать глаза! Не затем, конечно, чтобы забыться навеки. А затем, чтобы все видеть, и не открывая глаз. Это, между прочим, очень и очень возможно. Ведь слух и есть наше осязательное, то есть глубинное зрение.

Вот и сейчас.

Сейчас в моем просторном слуху устанавливается, покряхтывая и шатаясь, наш дом. Весь, до трещинки, со всей своей немотой и звуками. Дом стоит в осушенном русле реки В. Рядом места древние и знаменитые: Путевой дворец царевны Софьи (разрушен), Пожарский луг (перепахан), урочище Виселицы (пока не тронута).

Но... звуки-то в доме – вполне современные: кухонный лязг, урчанье сливных бачков, визг, сопенье, пыхтенье. Однако среди этих звуков вдруг выделяется что-то некаждодневное, не слишком привычное:

– Че-че-че... Че-че-че...

Кто-то словно бы хочет скрытным човганьем и пыхтеньем выстроить бессловесную фразу. Хочет, но не может. И тогда эту фразу выстраиваю про себя я.

“Че-че-че... идет через двор. (Пауза). С ружьем. Че-че-че... ЧЕ-ЧЕ-ЧЕ...”

Но ЧЕ – это не слог! ЧЕ (Чеглоков Евгений) – мой приятель. А зовут его так за пристрастие к черной беретке и за кустистую растрепанную бородку с небольшими на щеках прогалинами. Именно теперь, после прохождения сквозь мозг предупредительных звуков, я начинаю отчетливо слышать: ЧЕ, таясь, вступил на нашу лестницу, миновал второй этаж и сейчас сдерживает дыхание в пролете между вторым и третьим. Значит, он идет на пятый? Зачем, зачем ему туда сейчас? Ведь на пятом этаже он бывает только раз в неделю и только вечером! А сейчас девять утра...

Тут надо пояснить: ЧЕ – ветеран всех наших необъявленных, но уже вполне состоявшихся гражданских войн. Он был в Баку в 90-м, в Карабахе в 92-м, орал благим матом в Бендерах и поскрипывал зубами в Душанбе. А не так давно вернулся из Абхазии. Ему до всего есть дело. Он всюду воевал, везде кого-то защищал, за чьи-то права вступался. И только в последних стычках между грузинами и абхазами он внезапно бросил на землю свой АКМ и, перебегая от одного леска к другому, стал упрашивать воюющих кончить стрельбу. ЧЕ не убили только потому, что хорошо знали. Его не убили, но сильно помяли (грузины) и слегка покалечили (абхазы).

Именно из Сухума ЧЕ вернулся с отросшей кустами бородой и в береточке. Вернулся, но вместо того чтобы пахать землю или возить навоз на поля – день и ночь думает об антиглобализме. И не только, конечно, думает!

ЧЕ ездит за семьдесят километров в Москву и оттуда возвращается сияющий и довольный. И это хорошо заметно. Потому, что в остальные дни он ходит по поселку огорченный и озадаченный. Именно в остальные дни его абхазская хромота, его круто гнутый соко-

линый нос вместе с синенькими каплями зрачков вселяют в наших трусоватых жителей тревогу и страх. А его медленные расчетливые движения даже сеют легкую панику. Сеют, потому что ЧЕ проводит антиглобалистские учения и у нас в поселке. Для этого он собирает человек пять-шесть безработных, двух-трех стариков и с десятков бросивших школу ребят. Он ведет их всех на Марьин луг, заставляет вставать-ложиться, а потом перед строем разъясняет пороки глобализма. В такие дни ЧЕ красит брови в оранжевый цвет, надевает на руки красные резиновые перчатки и надвигает беретку на самый лоб. Кончив же говорить перед строем – он поет. Поет пронзительно и фальшиво. Пронзительно, потому что когда-то «сорвал» горло. Фальшиво, потому что у него нет музыкального слуха. Но ЧЕ поет и поет! Ведь он не какой-то унтер Пришибеев. Он – одинокий воин антиглобализма. Лирический капитан разбоя.

Но сейчас, в нашем доме, ЧЕ не поет, он поднимается по лестнице. И делает это позвериному легко и скрытно. Так в человеке, получившем удар ломом по спине, поднимается осознание новой действительности: выше, легче, к полной потере болевых ощущений, к обмороку!

“Че-че-че. (Слышишь, что будет дальше?)”

“Че-че-че. (Слышишь, что будет вскоре?)”

“Че-че-че. (Снова война, снова войны?..)”

Я съезживаюсь, а потом сжимаю кулаки. Какие войны? Войны – далеко! А вот если ЧЕ попадет вместо чердака в квартиру на пятом этаже, может произойти что-то похуже войны! Но этого не будет. Слух просто обманывает меня...

Однако выостренный, годами оттачиваемый слух обмануть не может. Он точен, он верен, непогрешим!

Между прочим, сам я делю слуховое пространство на четыре основных зоны.

Первая зона: *музыка слуха*. В этой зоне умещается вся наша поселковая старина с ее хитрыми словечками и несменяемыми названиями, все перечни дорог и тропинок, все перечисления людских имен и растений. *Музыка слуха* – лучшее из всего, что есть на свете. Она даже лучше музыки настоящей: органной, скрипичной, оркестровой.

Вторая зона – *обманы слуха*. Сюда входят: вся политмудятина, все базарные и лагерные слова, все чужеранящие наименования, все кликухи. Может, они не так уж вредны и не вполне злонамеренны, но они, эти слова, вводят нас постоянно в соблазн, влекут к заблуждениям.

Зона третья – *вождедения слуха*. Это то, что слух желает иметь в себе, но не имеет. Здесь чередой проходят все несбыточные женские нежности, все рассказы о бессмертии души и о наплывах земной мистическо-призрачной жизни. Жизни, которая зарождается в сумерках над туманящимися полями, на опушках еще не вытоптаных, не дачных лесов.

Ну и на закуску зона четвертая – *войны слуха*.

*Войны слуха* – это когда сквозь барабанные перепонки, щелкнув предательски звонкими молоточками, проникают ненужные диалоги и триалоги, бушуют в голове речёвки толпы, стоит гомон разбредаящихся с антиглобалистских учений поселковых ребят. *Войны слуха* – самое опасное для внутренней жизни человека состояние. Их хочется тут же исторгнуть, избыть из себя, закопать в землю, загатить в болота, в топи!

Как раз такая слуховая война может сейчас во мне и вспыхнуть. Потому что я слышу: ЧЕ дошел уже до четвертого этажа. И, хотя идет он тихо, я точно знаю: ЧЕ несет с собой двуствольную “тулку”. И коробку с патронами несет. А еще у него в руках должна быть армейская фанерная, во многих местах простреленная мишень. Через несколько минут он разнесет мишень и двустволку по разным углам чердака, сядет на стул, оботрет лоб. При этом его сожалеющий вдох вполне можно будет услышать через переборки нескольких этажей.

А затем ЧЕ дважды выстрелит. И она выглянет из своей однокомнатной квартирki на пятом этаже и станет робко прислушиваться. Но прислушивайся, не прислушивайся, а ЧЕ стреляет всегда только два раза. И потому, постояв на лестничной клетке в халатике (ведь на дворе уже почти весна и можно даже предчувствовать медленно, как самосвал, надвигающееся сизо-душное лето), она быстренько спрячется к себе в меховую, ковровую норку...

ЧЕ – собирается на войну. ЧЕ собирается на войну всегда. Но особенно после выходных: по понедельникам и вторникам. Ну а каждую среду, в шесть часов вечера, после очередной войны с самим собой, ЧЕ поднимается по нашей лестнице.

Он сам определил это время: 18-00. И хотя его частенько перехватывает на лестнице наш бывший участковый Сикаев и грозит сдать с потрохами сразу во все органы – в ФСБ, МВД, НКВД и ГПУ – ЧЕ времени никогда не меняет: в 18 так в 18!

Сикаев же, грозясь и крича, попутно над ЧЕ всегда издевается, вклинивая в свои густые проклятия еще и острые змеиные шепотки, вроде таких: “Все никак, сволочь, не настроляешься?” или “Мало ты нашей кровушки попил, ирод?”

Сейчас, однако, не 18-00 – сейчас девять утра!

А ЧЕ все поднимается и поднимается. Я хорошо слышу, как он проталкивает свое приземистое, жилистое, много раз продырявленное тело сквозь кисло-уксусный воздух нашего подъезда: наверх, наверх, на чердак...

Или... в квартиру на пятом?!

Между прочим, слышу я и то, что Сикаева сейчас на лестнице нет. А я хочу, хочу, чтобы эта жирная милицейская вошь, сдавшая “куда следует” всех, кого можно, на лестнице была! Я хочу слышать Сикаева именно сейчас. Иначе слух мой окажется пустым, незаполненным. Полупустой же слух всегда терзает и мучит меня, обещая громкие неожиданности, неприятности, дразги.

Чтобы избавиться от пустопорожного слуха, я затыкаю себе уши пальцами. И поначалу сладко гложу. Но затем и в заткнутые отверстия вверчиваются шорохи, проникает човганье ног:

– Че-че-че. (Шаг, подъем, остановка.)

– Че-че-че. (Шаг, остановка, подъем.)

Вдруг что-то щелкает. По-военному, кратко и радостно.

Замок? Затвор? Отводимый курок? Щелчок – и все, и тихо...

Пальцы мои сами собой выдергиваются из ушных отверстий. Значит, ЧЕ хочет-таки войти в квартиру? Зачем ему? Зачем?

Я срываюсь с места, бегу к двери. Но потом возвращаюсь. Надо мне подыматься на пятый? Нет, не надо. Совсем недавно я уже сделал несколько опрометчивых шагов, обронил несколько ненужных фраз. Тогда, правда, ЧЕ не поднимался в неурочный час ни на чердак, ни на пятый этаж. Он лежал у себя в однокомнатной квартире и умирал. Умирал от нравственных страданий, от ненависти к глобализму и от простуды.

Я вошел тогда с банкой малинового варенья. Варенье ЧЕ любит не очень. Но в тот момент оно было ему необходимо для избавления от кашля, сопровождавшего нравственное умирание.

– Поставь варенье и вали.

– У меня к тебе разговор, ЧЕ.

– Поставь банку и вали со своими соплями.

– Тебя бы подлечить, ЧЕ.

– Я сам себе врач.

– Знаю. Но ты ведь...

– Ты что, не видишь, как оно все обернулось?

– Да я не про политику, ЧЕ. Я хотел про личные дела потолковать.

– Какие личные дела, когда вокруг черт знает что делается!

ЧЕ моложе меня на десять лет. И я хоть и морщусь, однако позволяю ему называть себя на “ты”. Только ему одному! Может, от ненужной в наших отношениях демократичности. Может, вспоминая о том, что он старший по званию. А может, и потому, что я, длиннорукий, тощеватый, не имеющий необходимой военной выправки, с серым лицом и неостриженными, запущенными волосами и должен прогибаться перед его посеченной порохом переносицей, его серо-стальными, вросшими в мякоть подушечек ногтями подрывника-сапера? Но, возможно, я позволяю ЧЕ обращаться к себе на “ты” и потому, что он настоящий, проверенный выездами в Европу антиглобалист. А я, хоть и не люблю всяких там сходок с мордобоем, с интересом и какой-то смутно-сладкой тоской наблюдаю за тем, куда повернет это сурово заклеянное и у нас, и за бугром движение.

– Какие такие дела? – повторил ЧЕ и потянулся за банкой.

– Ну, дела мои совсем простые. Перестал бы ты, ЧЕ, пугать пятый этаж, а? Зачем тебе это? А я...

– Втяни свои сопли обратно. Раз пугаю – значит, надо. Да и чего тебе бояться? Я же не ее лично пугать хожу. Я не по этому делу, сам знаешь. Я о другом хлопочу!..

Как приходят слова? Через слух, через слух. Как приходят звуковые картины? Влезают в ушко...

Вот я и слышу: гулко и весело струит себя вода. Не та, что в трубах! Та, что под землей: стыло-озерная, ключевая. Куда эта вода струит себя и зачем? И зачем мне, затворнику и угрюмцу, звон ее ключей слышать? Зачем различать темновато-таинственный, исполненный неясных обещаний шум?

Но я слышу его, слышу...

Так, слышал я недавно ухающего мертвого филина. Чучело его ребята еще осенью закинули на чердак. Чучело молчаливое, одноглазое, с высокобленным и продавленным затылком... Но по ночам именно оно у нас на чердаке ухает!

А еще раньше я слышал, как ходит по квартирам третьего этажа, не обращая внимания на переборки и стены, какая-то женщина. Ее не видно, но она вовсе не привидение. Она – нечто иное. Может, звуковая волна прошлого, может, полет квартирного ветра. Внятно слышен шелест длинного крахмального платья, слышны постукивания остро-высоких каблук, рассыпания шпилек по столу, полурусские-полуфранцузские бормотания.

Слух цепляет и другие, вросшие в трещины донных камней, засевшие в гниловатых комлях вековых дубов слова.

Среди слов этих есть вполне обыкновенные. Но есть и редко встречаемые, позабытые. Слышится, к примеру, тонкий лязг якорной цепи, а потом скорей всего голландская – воспринимаемая как испорченная немецкая – ругань. Слышен и скрежет зубовный каких-то купцов, бубнящих после скрежета всегда одно и то же:

– Трофимушка, устал?

– Ох, тяжело, Ефим, тяжело, брат. Ослобони!

– Ничего, ничего, полежи, брат, под камушком.

– Лежу-у... Лежу-у-у!

Я хочу разматывать и распрямлять только эти далекие вздохи, хочу слышать дальше, слышать глубже! Однако в бок меня толкает ЧЕ.

– Ты че? Спать сюда пришел? Говорю тебе еще раз: я не ее, я совсем другого хочу! А ты, болван, думал...

Чего он и вправду хочет, этот получеловек покалеченный внутренними войнами? Чего ему надо?.. Разумеется, ему не нужны урочища. И пустоши ему не нужны. В гробу он видал Пожарский луг и чихать хотел на Стрелецкие могилы. Тогда что, что ему нужно? Ну, понятно! Ему нужны города! А в них – его собственный, мертвый и тошный распорядок...

Пока я вслушиваюсь в себя и в плывущую мимо жизнь, ЧЕ обходит меня сбоку и готовит для приема банки с вареньем уже две руки.

В тот раз, сделав вид, что обиделся на “болвана”, я поставил банку на тумбочку и, не оглядываясь, вышел. Я, конечно, слышал то, что кричал мне в спину ЧЕ, но особого значения этим крикам не придал. А кричал он тогда нечто неправильное и попросту дурацкое, связанное с нашими поселковыми людьми и с этим чертовым антиглобализмом, который кроют почем зря на всех телеканалах и про который ЧЕ еще месяц назад мне с увлечением толковывал:

– Они же все объединились! Секёшь? А нас всех разобшили, развели по разным углам и квартирам.

– Кто они, ЧЕ?

– Потом, подожди! У них все тишь, да гладь, да Божья благодать, а у нас внутри они гражданскую войну организовали.

– И кто же с кем сражается?

– Эх ты, балда институтская! Ну, конечно, – корысть и некорысть внутри у нас сражаются! А гражданская война внутри – она в тысячу раз хуже, чем война внешняя. У нас ведь у половины народа внутри, под ребрами, вместо сердечного клапана – граната РГ-1! Надо эту гранату из нутра вынуть и на пустоши взорвать!.. Ты пойми! Если уничтожить внутреннюю войну в каждом из нас – никаких войн на земле не останется! А глобализм мы победим и без автоматов! Как? Думать, кумекать надо. Слова надо нужные вспоминать, потом их произносить. Я уже кой-чего придумал. Хотя учти: то, что говорят эти гады, лимоновцы, я повторять не буду! Они ведь этого засланного казачка слушают. А он их всех как раз под статью и подведет. А сам, вместе с Каспаровым, в Гонолулу укатит!

– Какой “казачок”? Какого “засланного” слушают?..

Этот разговор с ЧЕ и его крик мешали мне вслушиваться в невидимую жизнь, целую неделю. Крик этот своей трубной прямоотой и яростью забивал нежные слуховые каналы, расплескивал ручейки текущей по ним музыки дня и музыки ночи...

Как приходят слова? Через слух, через слух. Как приходят люди, их образы, их поступки? Влезают в слуховое окошко.

Крики ЧЕ истаяли в весеннем воздухе, и в уши мне ввинтилась новая напасть – слова и словечки бывшего участкового Сикаева, произносимые им то у себя в квартире (громко), то на лестничной клетке (тихо).

– Всё возвращаются они и возвращаются! – так обычно начинает свои выступления Сикаев. – Их убили и в землю закопали, а они – на тебе: тут как тут! А кому они нужны, эти мертвые, эти на войнах поубитые?! Государству от них одно смущение. Ну, убили тебя, ну оконтузили, ну пообрывали руки-ноги – так и оставайся себе в песке, в камнях, в доме инвалидном! Совесть же надо иметь. Убили – не фиг оживать. Что с возу упало, то пропало. Пропавшие люди вы! И вчерашние. А нам здесь вчерашних людей не надо!

Эту последнюю фразу Сикаев произносит громко, наверное, даже приставляя ладонь трубочкой ко рту, потому что старается направить звук в ту сторону, где располагается квартира ЧЕ.

– Вчерашние и работать не могут. Ну а ежели ты не можешь на себя заработать – значит, ты труп и есть!

Сам Сикаев, впрочем, давно не работает. Получает по мелочи за доносы и наводки то от местных бандюков, то от милиции. Работать с ним удобно и весело и тем, и другим. И те, и другие ценят в нем дотошность и въедливость, а кроме того ценят справедливость доносов-наводок. Он, кстати, не скрывает того, что “стучит”. Не скрывает потому, что на кого попало Сикаев ни в жизнь не стукнет! Только на тех, кто зажрался и зарвался, кто вообразил о себе много и кто не выказывает уважения к милицейскому прошлому Сикаева.

Бывший милиционер, короткоукий, толстомясый, не имеющий (в отличие от ЧЕ) в облике ничего запоминающегося, кроме отливающей луной лысины, и левого слепого глаза, портит мне слух сильнее всех. Он же чуть не стал причиной острого моего желания слух этот на время потерять вовсе.

Было так: как-то вечером Сикаев вышел караулить ЧЕ на лестничную площадку третьего этажа. В это же время стала спускаться сверху та, что жила на этаже пятом. Стукнула и входная дверь подъезда. Воображаемый треугольник, образовавшийся между ЧЕ, женщиной с пятого и мною, конечно, не мог ускользнуть от красного, обмахиваемого белесыми ресницами, единственного, но горящего во тьме ярче иных маяков, сикаевского ока.

– Ну, как знал я. – Сикаев сладко заглотнул и разлопнул в горле небольшой пакетик нашего непрозрачного подъездного воздуха. – Как знал. Ну, обождите. Я вас на чистую воду выведу!

Дверь парадного стукнула еще раз. Послышалось какое-то рокотанье. Я снова сжался в комок: выходить, не выходить? Предотвращать встречу Сикаева, ЧЕ и женщины или не предотвращать? Ведь одним выходом можно все испортить. Хотя можно и поправить.

Я тогда не вышел, и случилось вот что.

Перехватив по дороге женщину с пятого этажа, Сикаев уцепил ее за руку и стал что есть мочи и явно напоказ орать:

– Вот она! Вот она, эта мнимая беженка! Слышите, Василь Семеныч? Я вам ее истинное лицо вмиг приоткрою, как ту червовую масть!

Почему Сикаев решил, что идет Василь Семеныч, – непонятно.

Я уже открыл дверь, чтобы защитить женщину с пятого от кого угодно, пусть даже от главы нашей местной администрации, зобастого индюка с вечно текущим носом, Василь Семеныча, – как вдруг все переменялось. Женщина вырвалась, но не стала спускаться вниз, а с плачем метнулась к себе наверх. Ну а вместо Василь Семеныча снизу отозвался идущий к кому-то в гости лесник Дорофеев. Посрамленный и обманутый собственным, насквозь высверленным милицейскими свистками слухом, Сикаев убрался в свою конуру. А я, я (меня-то слух обмануть не мог!) услышал вместо всего этого дряблого театра теней нечто действительно существенное.

Услышал: где-то недалеко, в сдвоенном холодном стволе дрогнули, но тут же и замерли неизвестно для кого предназначенные пули...

Я стряхиваю с себя воспоминания и снова прислушиваюсь. Но уже не к прошлому, к настоящему.

И в этом настоящем ЧЕ прошел четвертый этаж и поднимается на пятый. Он сопит и про себя что-то считает, а может, проясняет полусшепотом карту нашей местности, называя здешние места не Убогой горой, не Пожарским лугом и не Стрелецкими могилами, а специальными военными терминами.

Вдруг сопенье и шепот стихают. Сейчас ЧЕ (Чеглоков Евгений) должен опустить на бетон армейскую, во многих местах продырявленную мишень, и звук ее – глухо-деревянный – через секунду умолкнет...

Но ЧЕ не делает этого, а продолжает упорно и тупо взбираться наверх. Может, он не взял с собой мишень? А ружье взял? Взял. Это слышно по тихому пению стволов. Значит, он не мишень идет расстреливать? Кого же? Неужели ее – одинокую, дивно трепещущую, круглолицую, с двумя светлыми завитками на висках, улыбающуюся, чтобы не плакать, женщину? Нет, чушь. Ее-то за что?

Женщину зовут Марта. Она бывшая смотрительница музея. Ей нет еще и тридцати лет, и она только недавно приехала к нам из Гудауты. Марта наполовину немка. Под Гудаутой она жила с каким-то ингушом: то ли боевиком, то ли проводником. Жила, кажется, против своей воли. Ингуш этот, по слухам, куда-то регулярно исчезал месяца на полтора-два. Во

время одной из разборок его убили, причем непонятно кто. Еле живая Марта вырвалась с юга, приехала к родственнице в Подмоскowie. Но в день приезда родственница умерла, и теперь Марта живет в ее квартире в “подвешенном” – так говорит Сикаев – состоянии.

Сикаев сразу указал и на то, что приехала к нам Марта зря. Да и некоторые другие жители относятся к ней холодновато-сдержанно. Но это в обыденной, поселково-посадской жизни. А на работе – Марта работает в соседнем совхозе – ее страшно ценят. Потому что, хоть работы совхозной она и не любит, работает за четверых и может двенадцать часов кряду не разгибать спины, заменяя собой полупьяных мужиков и находящихся в непрерывном отгуле парней.

Иногда мне кажется: ЧЕ, Сикаев, Марта и я – мы все однодневная слабая моль! С бархатисто-дряблыми (кроме Марты) телами, с медленно усыхающими крылышками рук, хвостами ног. Поочередно, а иногда вместе, мы словно парим над осушенным руслом реки, над Марьиным лугом, над Инобожской дорогой, над родником преподобного Сергия, над Красными полями. Мы парим и знаем: никто из нас уже не спустится на землю, не будет переворачивать ее вилами, рыхлить граблями, не станет со вздохом изнеможения погружать в унавоженную землю пальцы, не будет эту почву, сладко подергивая краешками ноздрей, нюхать.

Мы сухие и ломкие, а потому – ненадежные и нежеланные. Мы – навсегда изгоняемы ждущей весенней пропашки, мощно гниющей землей!..

Я обрываю мысль, потому что слышу: ЧЕ, и вправду, не взял с собой мишень! Зато, взявшись за ручку квартирной двери на пятом этаже, он тихо отгибает ее: вниз, вниз, вниз!

И здесь, не выдержав, я кидаюсь к собственной двери. Но прежде, чем дверь моя распахивается, я слышу тонкий выщелк чужого замка: скрытно-потайной, военный! Так открывать крепко укупоренную дверь может только боец спецназа. Я выскакиваю на площадку и, выламывая шею, упираю взгляд в верхи лестницы. И вижу ноги ЧЕ. Ноги, которые, по моим расчетам, сейчас должны были втащиться в квартиру №65, отрываются от пола и, сверкнув набойками армейских ботинок, пропадают близ чердачной лестницы. Я слышу, как тихо охает, сама свою дверь и открывшая, Марта. И по звуку ее голоса понимаю: ЧЕ решил пристрелить не ее – себя!

Я не слышу и не могу слышать, как ворочаются мысли в контуженной голове Чеглокова Евгения. Но я хорошо слышу, как он радостно, даже злорадно сопит.

Я срываюсь с места. Однако не так-то просто с третьего этажа, да еще с раздраженным слухом, да с раскуроченным сердцем, с ватными от только начинающего проходить страха ногами, попасть на пятый. Я бегу тяжело, бегу, как бегают только во сне.

Однако это не сон: уже на исходе ступенек четвертого этажа я слышу выстрел. Единственный! Я замедляю бег, останавливаюсь, а потом, подкравшись к пожарной лестнице на носках, медленно взбираюсь на чердак.

ЧЕ сидит, привалив себя к каменному широкому дымоходу и блаженно улыбается. Беретка его – на бровях, руки в резиновых красных перчатках раскинуты. Рядом с ним лежит Сикаев с руками, стянутыми за спиной армейским ремнем.

– Ты видишь, что он, пес, придумал? Дырку в потолке пробил и “телескоп” поставил! Ну, я и пугнул его разок. Выстрелил поверх головы. Но ты в ”телескоп” этот не гляди. Я уже глянул. Пес, ах, пес!

На цыпочках, тихо и медленно, иду я к сикаевскому “телескопу”. Что-то удерживает меня, кто-то будто шепчет мне в ухо: не смотри! Но я должен глянуть. Только раз! Одним глазком!

Тем временем ЧЕ встает, лениво подходит к бывшему милиционеру Сикаеву и дает ему пинка в бок. Легонько так дает, дружески, носком сапога.

Правда, вижу я это лишь боковым зрением, потому что уже вплотную пододвинулся к странному сооружению из неширокой пластиковой трубки, нескольких луп и двух-трех

консервных банок: к “телескопу” Сикаева. Внезапно я понимаю: “телескоп” скорей всего направлен в квартиру Марты! С волнением и опаской спешу заглянуть я в это самодельное чудище, чтобы увидеть ее: эту трогательно-белокурую вертеровскую девушку.

Я прикладываюсь к “телескопу” Сикаева и вижу: Марта сидит на коленях у этого зобастого индюка, у Василь Семеныча. Она уже успокоилась после выстрела, и лицо ее выражает довольство и покорность, а глаза чисто сияют. Она сидит не шевелясь, но потом вздрагивает и начинает едва заметно спускать с плеча бретельку ночной рубашки. Василь Семеныч блаженно закатывает глазки.

Это как раз про него, про индюка зобастого, месяц назад ЧЕ кричал мне в спину: “Хватит стрелять по мишеням. Теперь надо простреливать порожных людей. Словом простреливать их, словом!”

“Ты думаешь – он человек? – пожимал тогда ЧЕ плечами. – Нет, пустота одна... Помнишь, говорил тебе: встретишь Будду – убей Будду! Встретишь патриарха – убей патриарха. Встретишь пустоту – убей пустоту. Много тут у нас пустоты накопилось”.

Но это ЧЕ говорил тогда. А сейчас он наивно и блаженно спрашивает:

– Ты, наверное, думал, я себя здесь кокну? Ну не балда ты после этого, а?

«Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. Лучше умереть, чем лежать».

Эта присказка ЧЕ вспомнилась мне именно сейчас. И я тут же про себя к ней прибавил: лучше слышать, чем видеть!

Я закрываю глаза, отхожу от сикаевского “телескопа”, сажусь на какой-то чурбачок и пытаюсь, как и ЧЕ, блаженно улыбнуться. Но у меня не получается. Хотя закрыть глаза – вполне получилось. Тут же я пытаюсь внушить себе: все, что я видел, – фата моргана, мираж! Нам, остро слышащим, нам, застенчивым и замкнутым людям, “зримость” вещей и явлений ни к чему! А Марта... Марта, действительно, светлая вертеровская девушка, и в гостях у нее никого нет, а стекла сикаевского “телескопа” – гнусный милицейский мираж!

И здесь я наконец-то по-настоящему расслабленно и блаженно улыбаюсь. Слух, только слух! Только слух есть настоящая жизнь! Все прочее – наглый киношный обман!

Я продолжаю улыбаться, потому что слышу эту настоящую жизнь! Слышу леса и округу, чую дерзкие шевеленья в Стрелецких могилах и вздохи старинных гатей. Слышу потрескиванье будущего и хрупкое отмиранье прошлого.

Слышу, слышу!

И не могу из своего слуха вывести только одно: куда, куда, словно покинутый командой корабль, плывет по высохшему руслу реки наш дом?

Господи, да кто ж это знает?

## Македонское вино

– Не осерчаете, если потревожу вас?

– Пустое...

– Сегодня такой странный день...

– Я бы скорей сказал – тяжелый.

Сумеречный, запредельный май. С сухими грозами, с улетающей ввысь желтовато-зеленой ольховой пылью, с обморочно низкими валами воздуха, неслышно идущими над самой землей.

На столе хлипком, косеньком стоит накрепко впечатанная в грязно-серые доски бутылка. Донце ее залеплено жирным, еще недавно скворчавшим, брызгавшимся и расквашивавшим брызги в стороны кладбищенским стеарином.

Дача, красноватый кремнистый песок, Подмоскovie. Уже стучается в ворота сизой голой башкой лето: муторное, мусорное, жлобски взблескивающее мутноватой слезой в алкоголических навывате глазах. Сейчас, кажется, ворота разъедутся в стороны, лето ввалится во двор и пойдет шататься по ноздреватому от лунок участку: как пьянчужка, с разорванным воротом, с вывернутой до кишок ширинкой.

Не выдерживая густо-налитого невидимой кровью воздуха, не в силах выносить тяжкий летний дух, распирающий квадрат двора, спускаюсь вниз, к зеленоватому, битому, грубо похрустывающему меж камней, зеркалу реки. К тому самому месту, где два года назад мы с ней и встретились.

– ...и день странный, и дачи здесь тоже странные. Огромные, а сами без весу. Сколько им может быть лет?

– Пожалуй, за сто перевалило.

– Так я и думала! Ну а жили-то в них, видно, всё господа важные: становой пристав, податный инспектор...

– В них жили балерины Императорского Большого Театра. Для балерин и строили.

Тогда, два года назад, она стояла на каменном горбленном мосту, держалась обеими руками за перила и чтобы лучше видеть полускрытые лиственницами огромные, корабельные, двух и трехъярусные деревянные дачи, время от времени поднималась на носки и радостно встряхивала головой, словно получая от созерцания дач необыкновенное или, может, какое-то изысканное удовольствие.

Я безвыездно прожил на даче всю зиму, большую часть весны, слегка одичал и после краткого разговора, стоя на противоположном конце моста, молчал. Тогда она – все так же держась двумя руками за перила – передвинулась ко мне едва ли не вплотную и робко-вопросительно, но при том и как-то лукаво заглядывая снизу вверх в глаза, полушепотом отрапортовалась:

– Я-у-бе-жала-из-дому...

Мне стало не по себе. В сущности это было невыносимо! Только что – два или три часа назад – моя приятельница, жившая со мной последние полгода, в который раз запричитала: "Я уйду, уеду...", – и действительно, собрав кое-какие вещи, уехала. Повторное сопряжение легкой наглечи, наива, а главное, пренеприятная связка глаголов "убежать-уехать" взбудоражили меня. Это наверняка отразилось на моем лице, потому что она тут же добавила:

– Не навсегда, не насовсем убежала... А балеринам здесь, кажется, отдыхалось недурственно! Может сам Государь Император навещал их иногда...

– Да уж. Скорей его приближенные. Те-то здесь времени точно даром не теряли, – как-то совсем уже неприязненно закончил я за нее.

Она обиделась, запнулась на полуслове. Хотела даже развернуться и уйти (во всяком случае, оглянулась назад, в сторону леса).

– Не обижайтесь, – нехотя жуя во рту слово, которое мне совсем не хотелось произносить, сказал я. – Вы что, в детстве балериной быть хотели?

– Представьте, нет. – Она зачем-то снова поднялась на носки, потом опустилась на полную ступню. – Не хотела. Но вот стала же. Не балериной, конечно, а так... Ночной бабочкой... Или, как их теперь в песнях называют... – Она не договорила, что-то острое, дико-злое, мелькнуло в больших, тепло-блескучих глазах её. Она отступила на шаг, чтобы на этот раз уйти окончательно.

Не скажи случайная знакомая про ночную бабочку, я наверняка так и дал бы ей уйти. Но за её спиной с грубоватыми стонами, – пугая, маня, – пошатывался майский, по краям чуть засвеченный зеленью лес. На фоне леса она показалась мне такой же уязвимой, как первая летняя бабочка, и такой же брошенной, как я сам. Этой брошенности вдруг стало жаль:

– Погодите... Ну что там песня. Мало чего теперь в песни не насуют!

Она вернулась, подняла на меня вмиг увлажнившиеся от радости глаза с чуть розоватыми белками, с желудевым, слабо-коричневым зрачком:

– Вы про бабочку не верьте. Просто я с техникой забарахталась. Порхаю от компьютера к компьютеру. Там, знаете, тоже всё бабочки по экрану... Мельтешат, роятся... У меня есть бутылка вина. Отменного, – голос ее упал до шепота, – но-открытья-его-немо-гу... Немо...

Новая моя знакомая вдруг до жути, до красноты бурой на шее, на щеках, засмушалась, свесила голову.

– Не надо было вам говорить этого.

– Ну отчего же. Как раз – надо. А бутылку я открою. Пойдемте, – неожиданно для самого себя закончил я.

Робко и одышливо, удивляясь происходящему, чуть нелепые в полувесенней жаркой одежде и тяжелой, едва ли не зимней обуви (тянулось и никак не могло окончиться прохладное утро), я – костистый, высокий, она – пухловатая, не выше среднего роста, в короткой, шевелящейся при ходьбе стрижке и с ямочкой на одной из щек, – мы стали подниматься по аллее в дачный поселок.

Ну, ищущие знакомств подмосковно-московские дамы хорошо всем известны: теперь она должна была весело и без удержу, сглаживая безрасчетную свою прямоту, начать без удержу тараторить, должна была разговорами о театре, на худой конец о балете доказывать свою непричастность к жадному и гнусному племени новейших путан.

Но она молчала. Наконец, когда мы одолели пол аллеи, насмешливо, но и с глубоко упрямой печалью, спросила:

– Вы дачник?

– Квартирант.

– Я тоже снимаю квартиру. Но почти в Москве, на Тайнинке. А здесь была давно, лет пять назад. И вот... Решила заехать. Лес здесь особенный, и болота вокруг удивительные: радостные, веселые! И вереск на них уже зацвел...

Как бывалый загородный житель, я про себя снисходительно ухмыльнулся: вереск на болотах – и точно был, но пока, конечно, не цвел.

Не торопясь, словно нехотя, подошли мы к снимаемой мною даче. Снова налетел знобящий майский ветерок. И в его порыве мне почуялся вздорно-насмешливый голос моей, только что съехавшей с дачи приятельницы: “Не успела я за калитку, а он уже по всему поселку за бабами шастает!”

Это была брехня, и была чушь! Ни за какими бабами по аллеям никогда я не шастал, просто приятельнице отчего-то всегда так хотелось думать. Возмущенный томяще-звонкой глупостью съехавшей приятельницы и ей назло, я резко толкнул калитку.

Целый день мы просидели на даче, забыв про бутылку вина, ради которой на дачу и шли, рассказывали ничего не значащие истории, обнимались и слегка касались друг друга губами, остальное как-то дружно, и не сговариваясь, отложив на вечер. Вечером вышли ненадолго погулять. Возвращаясь, я еще издали заметил: в комнате моей горит свет. Бесшумно отворив калитку, подошел к окну, заглянул за жиденькие шторы: приятельница, утром покинувшая меня навсегда, вернулась. Слегка помедлив, я вернулся к моей новой знакомой, стоявшей поодаль.

– Ты знаешь, моя... Ну, я ведь говорил тебе... В общем, она здесь.

– Принеси мою сумку. Я побегу, пойду...

Даже в полутьме я почувствовал, как она вздрогнула и, уже не переставая, дрожала весь вечер и часть ночи, дрожала так, словно ей вынесли смертный приговор. Да! Верно! Именно такая дрожь, какую видел я когда-то у подсудимой, ждавшей на одном из судебных заседаний приговора, ухватила и хищно трепала ее тогда!

– Принеси... – шепотом повторила она.

На носках вошел я в плохо освещенную каменную дачу, нашел в сенях сумку, мы все так же сторожко выкрались со двора и за калиткой в растерянности остановились.

– Я побегу... Пойду на поезд, – снова забеспокоилась она. Тогда я ухватил ее за рукав куртки и грубо, как-то совсем по-бандитски, поволок в противоположную от станции сторону, к одной из темных, пустых, строенных еще в позапрошлом веке дач.

Мы лихо перемахнули забор и, отколупнув нехитрую защелку, пробрались на веранду. Там было сыро. Я опять почувствовал: спутницу мою крупно и непрерывно бьет дрожь.

– Давай выпьем... Где вино? – Я нетерпеливо полез в ее сумку.

– Не сейчас. Потом...

– Ты вся дрожишь. Выпей – согреешься!

Я выдрал у нее из рук сумку, выхватил из сумки бутылку, сбил с горлышка щелчком акцизную марку, скусил пластмассовый колпачок и, утвердив бутылку на столе, стал большим пальцем продавливать пробку внутрь.

– Мне лучше уйти... – вновь лепетнула она.

Тогда, оставив бутылку, я стал торопливо, не разбирая застежек и пуговиц, раздевать ее.

Ни топчана, ни укладки, ни какого-нибудь рундука на веранде не было. Зато было соломенное, качающееся на двух напольных дугах кресло. На него мы и взгромоздились. Потом, чуть успокоившись, перелегли на пол, постелив на него всю сброшенную с себя одежду. Спутница моя согрелась, дрожь ее стала беззаметней, мельче.

– Ты спас меня, спас... – твердила она, – спас, а я... – Тут, спохватившись, она шлепнула себя пухлой ладошкой по лбу.

– Вино! Теперь можно и выпить!

Было совсем уже темно. Я нашарил на столе спички, отыскал неглубокую мисочку с расплавленным, застывшим, а потом раскрошенным огарком свечи и торчащим из стеариновой каши фитильком, затем “каганец” этот зажгёт («каганцом» называла мисочку со стеарином наша соседка, высокая, мосластая, до смешного распрямленная какими-то корсетами и накладками старуха, смертельно боявшаяся электричества и приезжавшая на дачу с инспекционными осмотрами каждую субботу). Нашлись и стаканы. Мы выпили слабо-ароматного, ломящего зубы вина, и я тут же, на полу, в ворохе одежды стал забываться прерывистым и тревожным полусном.

В полусне этом душном, в полусне мучительном, слышны были слова лежавшей рядом женщины. Она восторженным шепотком рассказывала о вине, заменяющем кровь, о винных десятиведерных бочках, закапываемых где-то на юге при молодом месяце в теплую осен-

нюю землю, о медленно и глухо вызревающем в бочках царском напитке, о запойной капле, иногда добавляемой в бочку.

В ушах у меня стоял бродильный гул, мельчайшие пузырьки дивного хмеля плыли и лопались в воздухе, тихо-слабо разрывались в мозгу. А в ноздри и в рот лез обморочно-сладкий запах убоины, словно был я укрыт шкурой, содранной ловким драчом с давно издохшей овцы...

Вслед за гулом и запахом убоины посыпались выкрики на непонятном, хотя и явно знакомом по университету языке. Это был греческий разговорный язык “койнэ”. Я его все так же не понимал, но стал вдруг чувствовать ранее от меня скрытую силу, даже мощь этого языка... Вскоре выкрики как-то сами собой, не переводясь на русский, прояснились: они от чего-то предостерегали, чему-то неведомому, а возможно и непоправимому, предшествовали...

После выкриков, медленно и высоко подсакивая на плохо седланных конях, вломились на дачу, прошли ее насквозь, таща за собой обломки дерева, металлические прутья и всяческий лом, всадники в медных, тяжело сверкнувших нагрудниках. Дико громыхнули колесницы. Мелко и гадко оружие рабы провели трех коней в поводу, затем остановили их, принялись окатывать потные лошажи спины приторным, доводящим до рвотного спазма виноградным сусликом, тут же омывки стали собирать в серебряные лохани, стали, захлебываясь, эту бурду пить, а потом, будто дразня кого-то, начали еще гаже, еще мелочней прежнего орать...

Вдруг вся эта галиматья, как мелко исписанная табличка в справочном вокзальном автомате, трепыхнула металлическими крылышками, перевернулась, полыхнула на лету коричневатым торфяным огнем, и, сухо, как зеркало, треснув, шваркнулась оземь, расплавилась.

Я с усилием раздернул веки. Красноватый огонек “каганца” брызгался-трещал высоко над столом в руках у покинувшей меня навсегда университетской приятельницы. Она стояла на пороге незапертой веранды и, поднеся огонек близко к лицу, невидяще жмурилась. Потом как-то безразлично и устало произнесла.

– Так значит это ты Зоя? Про тебя мне, зараза, и говорили...

– Меня зовут Кира, – важничая и моментально по-детски надув свои и без того пухлые губы, сказала лежавшая рядом со мной.

После вина и краткого забытья у меня ломило затылок, покалывало веки, кроме того, сразу стал тяготить повисший в воздухе скандал. Мне казалось – я снова слышу крики, на этот раз женские, слышу свистящую ругань. Сев, я дотянулся до бутылки на губах чуть кислящего, но под небом и в горле мягкого и не вызывающего обычной изжоги вина, приготовился из горлышка пить.

Но тут же в ушах засвербели бормотанья из недавней полуяви:

*“Вино... Вино... – вздувались и лопались в ушах, в мозгу, в гортани, то ли мои, то ли чужие слова. – Вино сладкое, вино царское, вино многопьяное! Заброди темной тучей, умягчись крошкой землей. Но не забирай мою кровь. Пои, да не допьяна, пои, да не до смерти. Винного хлеба дай и винного мяса, но не топи в черном болоте, не дави тяжелой горой. Дай на иную гору взойти! На горе той сидят три архангела, три царя сидят, три святителя...”*

Дальше в уши полезла совершенная уже нелепица.

Сбрасывая наволочь сна, я потрянул головой, сделал долгий глоток.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.